



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



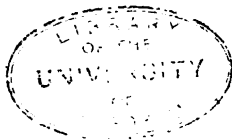
La confession par le comte L. Tolstoï

ИСПОВѢДЬ
ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО

ВСТУПЛЕНИЕ КЪ СОЧИНЕНІЮ

„ВЪ ЧЕМЪ МОЯ ВѢРА“

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ



CAROUGE-GENÈVE

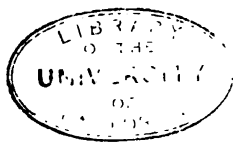
M. ELPIDINE, LIBRAIRE-ÉDITEUR

1900

ИСПОВѢДЬ
ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО

ВСТУПЛЕНІЕ КЪ СОЧИНЕНІЮ

„ВЪ ЧЕМЪ МОЯ ВѢРА“



CAROUGE — (GENÈVE)
M. ELPIDINE, LIBRAIRE-ÉDITEUR
1900

BV 4512
T55
1900
MAIN

ИСПОВѢДЬ

ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО

ВСТУПЛЕНИЕ КЪ СОЧИНЕНІЮ

„ВЪ ЧЕМЪ МОЯ ВѢРА“

I.

Я былъ крещенъ и воспитанъ въ православной христіанской вѣрѣ. Меня учили ей и съ дѣтства и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лѣтъ вышелъ со второго курса университета, я не вѣрилъ уже ни во что изъ того, чему меня учили.

Судя по нѣкоторымъ воспоминаніямъ, я никогда и не вѣрилъ серьезно, а имѣлъ только довѣріе къ тому, что исповѣдывали передо мной большіе; но довѣріе это было очень шатко.

Помню, что когда мнѣ было лѣтъ одиннадцать, одинъ мальчикъ, давно умершій, Володинъ М., учившійся въ гимназіи, прийдя къ намъ на воскресенье, какъ послѣднюю новинку, объявлялъ намъ открытіе, сдѣланное въ гимназіи.

и въ собственной жизни самому никогда не приходится справляться съ нимъ; вѣроученіе это исповѣдуется гдѣ-то тамъ, вдали отъ жизни и независимо отъ нея. Если сталкиваешься съ нимъ, то какъ съ внѣшнимъ, не связаннымъ съ жизнью явленіемъ.

По жизни человѣка, по дѣламъ его какъ теперь, такъ и тогда, никакъ нельзя узнать, вѣрующій онъ или нѣтъ. Если есть различіе между явно исповѣдующимъ православіе и отрицающимъ его, то не въ пользу перваго. Какъ теперь, такъ и тогда явное признаніе и исповѣданіе православія большею частью встрѣчалось въ людяхъ тупыхъ, жестокихъ, безнравственныхъ и считающихъ себя очень важными. Умъ же, честность, прямота, добродушіе и нравственность большею частью встрѣчались въ людяхъ, признающихъ себя невѣрующими.

Въ школахъ учатъ катехизису и посылаютъ учениковъ въ церковь; отъ чиновниковъ требуютъ свидѣтельствъ въ бытіи у причастія. Но человѣкъ нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службѣ, и теперь, а въ старину еще больше, можетъ прожить десятки лѣтъ, не вспомнивъ ни разу о томъ, что онъ живетъ среди христіанъ и самъ считается исповѣдующимъ христіанскую православную вѣру.

Такъ что, какъ теперь, такъ и прежде, принятое по довѣрію и поддерживаемое внѣшнимъ давленіемъ поначиниго таетъ подъ вліяніемъ знаній и опытовъ жизни, противоположныхъ вѣроученію, и человѣкъ очень часто долго живетъ, воображая, что въ немъ цѣло то вѣроученіе, которое сообщено было ему съ дѣтства, тогда какъ его давно уже нѣтъ и слѣда.

что свѣтъ знанія и жизни растопилъ искусственное зданіе, и они или уже замѣтили это и освободили мѣсто или еще не замѣтили этого.

Сообщенное мнѣ съ дѣтства вѣроученіе исчезло во мнѣ такъ же, какъ и въ другихъ, съ тою только разницей, что такъ какъ я съ пятнадцати лѣтъ сталъ читать философскія сочиненія, то мое отреченіе отъ вѣроученія очень рано стало сознательнымъ. Я съ 16-ти лѣтъ пересталъ становиться на молитву и пересталъ по собственному побужденію ходить въ церковь и говѣть. Я не вѣрилъ въ то, что мнѣ сообщено съ дѣтства, но я вѣрилъ во что то. Во что я вѣрилъ, я никакъ бы не могъ сказать. Вѣрилъ я въ Бога или, вѣрнѣе, я не отрицалъ Бога, но какого Бога, я бы не могъ сказать; не отрицалъ я и Христа и его ученіе, но въ чемъ было его ученіе, я тоже не могъ бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вѣра моя — то, что кромѣ животныхъ инстинктовъ двигало моею жизнью — единственная истинная вѣра моя въ то время была вѣра въ совершенствованіе. Но въ чемъ было совершенствованіе и какая была цѣль его, я бы не могъ сказать. Я старался совершенствовать себя умственно, — я учился всему, чему могъ и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать свою волю, — составлялъ себѣ правила, которымъ старался слѣдовать; совершенствовалъ себя физически всякими упражненіями, изощряя силу и ловкость и всякими лишеніями, приучая себя къ выносливости и терпѣнію. И все это я считалъ совершенствованіемъ. Началомъ всего было, разумѣется, нравственное совершенствованіе, но скоро оно подмѣнилось совершенствованіемъ вообще, т. е. желаніемъ быть лучше не передъ самимъ собою или передъ Богомъ, а желаніемъ

у меня вслѣдствіе этой женитьбы было какъ можно больше рабовъ.

Безъ ужаса, омерзѣнія и боли сердечной не могу вспомнить объ этихъ годахъ. Я убивалъ людей на войнѣ, вызывалъ на дуэли, чтобы убить; проигрывалъ въ карты, продавалъ труды мужиковъ; казнилъ ихъ, блудилъ, обманывалъ. Ложь, воровство, любодѣяніе всѣхъ родовъ, пьянство, насиліе, убійство... Не было преступленія, котораго бы я не совершалъ, и за все это меня хвалили, считали и считаютъ мои сверстники сравнительно нравственнымъ человекомъ.

Такъ я жилъ десять лѣтъ.

Въ это время я сталъ писать — изъ тщеславія, корыстолюбія и гордости. Въ писаніяхъ своихъ я дѣлалъ то же самое, что и въ жизни. Для того, чтобы имѣть славу и деньги, для которыхъ я писалъ, надо было скрывать хорошее и высказывать дурное. Я такъ и дѣлалъ. Сколько разъ я ухитрился скрывать въ писаніяхъ своихъ подъ видомъ равнодушія и даже легкой насмѣшливости тѣ мои стремленія къ добру, которыя составляли смыслъ моей жизни. И я достигалъ этого: меня хвалили.

Двадцати шести лѣтъ я пріѣхалъ послѣ войны въ Петербургъ и сошелся съ писателями. Меня приняли, какъ своего, льстили мнѣ. И не успѣлъ я оглянуться, какъ словенные писательскіе взгляды на жизнь тѣхъ людей, съ которыми я сошелся, усвоились мною уже совершенно изгладили во мнѣ всѣ мои прежнія попытки сдѣлаться лучше. Взгляды эти подъ распущенность моей жизни подставили теорію, которая ее оправдывала.

— Взглядъ на жизнь этихъ людей, моихъ товарищей по писанію, состоялъ въ томъ, что жизнь вообще идетъ, раз-

писательской, я сталъ внимательнѣе наблюдать жрецовъ ея и убѣдился, что почти всѣ жрецы этой вѣры, писатели, были люди безнравственные и въ большинствѣ люди плохіе, ничтожныя по характерамъ, — много ниже тѣхъ людей, которыхъ я встрѣчалъ въ моей прежней разгульной и военной жизни, — но самоувѣренные и довольные собой, какъ только могутъ быть довольны люди совѣстью святыне или такіе, которые и не знаютъ, что такое святость. Люди мнѣ опротивѣли, и самъ себѣ я опротивѣлъ, и я понималъ, что вѣра эта обманъ.

Но странно то, что хотя всю эту ложь я понималъ скоро и отрекся отъ нея, но отъ чина, даннаго мнѣ этими людьми — отъ чина художника, поэта, учителя — я не отрекся. Я наивно воображалъ, что я — поэтъ, художникъ, и могу учить всѣхъ, самъ не зная, чему я учу. Я такъ и дѣлалъ.

Изъ сближенія съ этими людьми я вынесъ новый порокъ — до болѣзненности развивавшуюся гордость и сумасшедшую увѣренность въ томъ, что я призванъ учить людей, самъ не зная чему.

Теперь, вспоминая объ этомъ времени, о своемъ настроеніи тогда и настроеніи тѣхъ людей (такихъ, впрочемъ, и теперь тысячи), мнѣ и жалко, и срамно, — возникаетъ именно то самое чувство, которое испытываешь въ домѣ сумасшедшихъ.

Мы всѣ тогда были убѣждены, что намъ нужно говорить и говорить, писать, печатать — какъ можно скорѣе, какъ можно больше, что все это нужно для блага человечества. И тысячи насъ, отрицая, ругая одинъ другого, всѣ печатали, писали, поучая другихъ. И, не замѣчая того, что мы ничего не знаемъ, что на самый простой во-

нашей партіи насъ хвалили, — стало быть, мы, каждый изъ насъ, считали себя правыми. .

Теперь мнѣ ясно, что разницы съ сумасшедшимъ домогъ никакой не было; тогда же я только смутно подозрѣвалъ это, и то только, какъ и всѣ сумасшедшіе, называлъ всѣхъ сумасшедшими кромѣ себя.

III.

Такъ я жилъ, предаваясь этому безумію еще шесть лѣтъ, до моей женитьбы. Въ это время я поѣхалъ за границу. Жизнь въ Европѣ и сближеніе мое съ передовыми и учеными европейскими людьми утвердили меня еще больше въ той вѣрѣ совершенствованія вообще, въ которой я жилъ, потому что ту же самую вѣру я нашелъ и у нихъ. Вѣра эта приняла во мнѣ ту обычную форму, которую она имѣетъ у большинства образованныхъ людей нашего времени. Вѣра эта выражалась словомъ „прогрессъ“. Тогда мнѣ казалось, что этимъ словомъ выражается что-то. Я не понималъ еще того, что, мучимый, какъ всякій живой человѣкъ, вопросами, какъ мнѣ лучше жить, я, отвѣчая: жить сообразно съ прогрессомъ, — отвѣчаю совершенно то же, что отвѣтитъ человѣкъ, несомый въ лодкѣ по волнамъ и по вѣтру, на главный и единственный для него вопросъ: „куда держаться“, — если онъ, не отвѣчая на вопросъ, скажетъ: „насъ несетъ куда-то“.

Тогда я не замѣчалъ этого. Только изрѣдка — не разумъ, а чувство возмущалось противъ этого общаго въ

носился критически къ самому прогрессу. Я говорилъ себѣ, что прогрессъ въ нѣкоторыхъ явленіяхъ своихъ совершался неправильно и что вотъ надо отнестись къ первобытнымъ людямъ, крестьянскимъ дѣтямъ, совершенно свободно, предлагая имъ избрать тотъ путь прогресса, который они захотятъ. Въ сущности же я вертѣлся все около одной и той же неразрѣшимой задачи, состоящей въ томъ, чтобъ учить, не зная чему. Въ высшихъ сферахъ литературной дѣятельности я понималъ, что нельзя учить, не зная, чему учить, потому что я видѣлъ, что всѣ учатъ различному и спорами между собой скрываютъ только сами отъ себя свое незнаніе; здѣсь же съ крестьянскими дѣтьми я думалъ, что можно обойти эту трудность тѣмъ, чтобы предоставить дѣтямъ учиться чему они хотятъ. Теперь мнѣ смѣшно вспомнить, какъ я вилиалъ, чтобы исполнить свою похоть — учить, хотя очень хорошо зналъ въ глубинѣ души, что я не могу ничему учить такому, что нужно, потому что самъ не знаю, что нужно. Послѣ года, проведеннаго въ занятіяхъ школой, я другой разъ поѣхалъ за границу, чтобы тамъ узнать, какъ бы это такъ сдѣлать, чтобы, самому ничего не зная, умѣть учить другихъ.

И мнѣ казалось, что я этому выучился за границей, и, вооруженный всей этой премудростью, я въ годъ освобожденія крестьянъ вернулся въ Россію и, занявъ мѣсто посредника, сталъ учить и необразованный народъ въ школахъ и образованныхъ людей въ журналѣ, который началъ издавать. Дѣло, казалось, шло хорошо, но я чувствовалъ, что я не совсѣмъ умственно здоровъ и долго это не можетъ продолжаться. И я бы тогда же, можетъ быть, пришелъ къ тому отчаянію, къ которому я пришелъ чрезъ пятнадцать лѣтъ, еслибъ у меня не было еще одной стороны жизни,

ной, что надо жить такъ, чтобы самому съ семьей было какъ можно лучше. Такъ я жилъ, но пять лѣтъ тому назадъ со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумѣнія, остановки жизни, какъ будто я не зналъ, какъ мнѣ жить; что мнѣ дѣлать и я терялся и впадалъ въ уныніе. Но это проходило и я продолжалъ жить по прежнему. Потомъ эти минуты недоумѣнія стали повторяться чаще и чаще и все въ той же самой формѣ. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: зачѣмъ? Ну, а истомъ?

Сначала мнѣ показалось, что это такъ — безцѣльные, неумѣстные вопросы. Мнѣ казалось, что это все извѣстно и что если я когда захочу заняться ихъ рѣшеніемъ, это не будетъ стоить мнѣ труда, — что теперь только мнѣ некогда этимъ заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду отвѣты. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнѣе и настоятельнѣе требовались отвѣты, и какъ точки, падая все на одно мѣсто, сплотились эти вопросы безъ отвѣтовъ въ одно черное пятно.

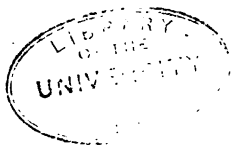
— Случилось то, что случается съ каждымъ заболѣвающимъ внутреннюю болѣзнь. Сначала появляются ничтожные признаки недомоганія, на которыя больной не обращаетъ вниманія, потомъ признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются въ одно нераздѣльное по времени страданіе. Страданіе растетъ, и больной не успѣетъ оглянуться, какъ уже сознаетъ, что то, что онъ принималъ за недомоганіе, есть то, что для него значителнѣе всего въ мірѣ — что это — смерть.

То же случилось и со мной. Я понялъ, что это — не случайное недомоганіе, а что-то очень важное, и что если повторяются все тѣ же вопросы, то надо отвѣтить на нихъ.

IV.

Жизнь моя остановилась. Я могъ дышать, ѣсть, пить, спать и не могъ не дышать, не ѣсть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было такихъ желаній, удовлетвореніе которыхъ я находилъ бы разумнымъ. Если я желалъ чего, я впередъ зналъ, что удовлетворю или не удовлетворю мое желаніе, изъ этого ничего не выйдетъ. Еслибы пришла волшебница и предложила мнѣ исполнить мои желанія, я бы не зналъ, что сказать. Если есть у меня не желанія, но привычки желаній прежнихъ въ пьяныя минуты, то я въ трезвыя минуты знаю, что это — обманъ, что нечего желать. Даже узнать истину я не могъ желать, потому что я догадывался, въ чемъ она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица. Я будто жилъ-жилъ, шелъ-шелъ и пришелъ къ пропасти, и ясно увидалъ, что впереди ничего нѣтъ кромѣ гибели. И остановиться нельзя, и назадъ нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видать, что ничего нѣтъ впереди кромѣ страданій и настоящей смерти — полного уничтоженія.

Со мной сдѣлалось то, что я — здоровый, счастливый человекъ — почувствовалъ, что я не могу болѣе жить, — какая-то непреодолимая сила влекла меня къ тому, чтобы какъ-нибудь избавиться отъ жизни. Нельзя сказать, чтобы я хотѣлъ убить себя. Сила, которая влекла меня прочь отъ жизни, была сильнѣе, полнѣе, общѣе хотѣнья. Это была сила, подобная прежнему стремленію жизни, только въ



комъ положенія я пришелъ къ тому, что не могъ жить и, боясь смерти, долженъ былъ употреблять хитрости противъ себя, чтобы не лишиться себя жизни.

Душевное состояніе это выражалось для меня такъ: жизнь моя есть какая-то кѣмъ-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Не смотря на то, что я не признавалъ никакого „кого-то“, который бы меня сотворилъ, эта форма представленія, что кто-то надо мной подшутилъ зло и глупо, произведя меня на свѣтъ, была самая естественная мнѣ форма представленія.

Невольно мнѣ представлялось, что тамъ гдѣ-то есть кто-то, который теперь потѣшается, глядя на меня, какъ я цѣлая 30—40 лѣтъ жилъ, жилъ учась, развиваясь, возростая тѣломъ и духомъ, и какъ я теперь, совсѣмъ окрѣпнувъ умомъ, дойдя до той вершины жизни, съ которой открывается вся она, какъ я дуракъ-дуракомъ стою на этой вершинѣ, ясно понимая, что ничего въ жизни нѣтъ, и не было, и не будетъ. „А ему смѣшно“.

Но есть ли нѣтъ этотъ кто-нибудь, который смѣется надо мной, мнѣ отъ этого не легче. Я не могъ придать никакого разумнаго смысла ни одному поступку во всей моей жизни. Меня только удивляло то, какъ могъ я не понимать этого въ самомъ началѣ. Все это такъ давно всѣмъ извѣстно. Не нынче — завтра придутъ болѣзни, смерть (и приходили уже) на любимыхъ людей, на меня, и ничего не останется кромѣ сирада и червей. Дѣла мои, какія бы они ни были, всѣ забудутся — раньше, позднѣе, да меня-то не будетъ. Такъ изъ чего же хлопотать? Какъ можетъ человѣкъ не видѣть этого и жить — вотъ что удивительно! Можно жить только повуда пьянъ жизнью; а какъ протрезвѣишься, то нельзя не видѣть, что все это —

Прежній обманъ радостей жизни, заглушавшій ужасъ дракона, уже не обманываетъ меня. Сколько ни говори мнѣ: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи, — я не могу дѣлать этого, потому что слишкомъ долго дѣлалъ это прежде. Теперь я не могу не видѣть дня и ночи, бѣгущихъ и ведущихъ меня къ смерти. Я вижу это одно, потому что это одно — истина. Остальное все — ложь.

Тѣ двѣ капли меда, которыя дольше другихъ отводили мнѣ глаза отъ жестокой истины — любовь къ семьѣ и къ писательству, которое я называлъ искусствомъ, — уже не сладки мнѣ.

„Семья... — говорилъ я себѣ; — но семья — жена, дѣти; они тоже люди. Они находятся въ тѣхъ же самыхъ условіяхъ, въ какихъ и я: они или должны жить во лжи или видѣть ужасную истину. Зачѣмъ же имъ жить? За чѣмъ имъ любить ихъ беречь, растить и блюсти ихъ? Для того же отчаянія, которое во мнѣ, или для тупоумія? Любя ихъ, я не могу скрывать отъ нихъ истины, — всякій шагъ въ познаніи ведетъ ихъ къ этой истинѣ. А истина — смерть.“

„Искусство, поэзія“.... Долго подъ вліяніемъ успѣха похвалы людской я увѣрялъ себя, что это — дѣло, которое должно дѣлать, не смотря на то, что придется смерть, къторая уничтожить все — и мои дѣла и память о нихъ; но скоро я увидалъ, что и это — обманъ. Мнѣ было ясно, что искусство есть украшеніе жизни, заманка къ жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость, какъ же я могу заманивать другихъ. Пока я не жилъ своею жизнью, а чужая жизнь несла меня на своихъ волнахъ, пока я вѣрилъ, что жизнь имѣетъ смыслъ, хотя я и не умѣю выра-

что все равно разорвется сосудъ въ сердцѣ или лопнетъ что-нибудь и все кончится, я не могъ терпѣливо ожидать конца. Ужась тьмѣ былъ слишкомъ великъ, и я хотѣлъ поскорѣе, поскорѣе избавиться отъ него петлей или пудей. И вотъ это-то чувство сильнѣе всего влекло меня къ самоубійству.

V.

„Но можетъ быть я просмотрѣлъ что-нибудь, не понялъ чего-нибудь? — нѣсколько разъ говорилъ я себѣ. — Не можетъ же быть, чтобъ это состояніе отчаянія было свойственно людямъ“. И я искалъ объясненія на мои вопросы во всѣхъ тѣхъ знаніяхъ, которыя приобрѣли люди. И я мучительно и долго искалъ, и не изъ празднаго любопытства, не вяло искалъ, но искалъ мучительно, упорно, дни и ночи, — искалъ, какъ ищетъ погибающій человѣкъ спасенія, — и ничего не нашелъ.

Я искалъ во всѣхъ знаніяхъ, и не только не нашелъ, но убѣдился, что всѣ тѣ которые такъ же, какъ и я, искали въ знаніи, точно такъ же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня въ отчаяніе — бессмыслица жизни, есть единственное несомнѣнное знаніе, доступное человѣку.

Я искалъ вездѣ, и благодаря жизни, проведенной въ ученіи, а также тому, что по свѣдѣнію своимъ съ міромъ ученыхъ мнѣ были доступны сами ученые всѣхъ разнообразныхъ отраслей знанія, не отказывавшіе открывать мнѣ всѣ свои знанія не только въ книгахъ, но и въ бесѣ-

нашелъ, что по отношенію къ этому вопросу всё человѣческія знанія раздѣляются какъ бы на двѣ противоположныя полусферы, на двухъ противоположныхъ концахъ которыхъ находятся два полюса: одинъ — отрицательный, другой — положительный; но что ни на томъ, ни на другомъ полюсѣ нѣтъ отвѣтовъ на вопросы жизни.

Одинъ рядъ знаній какъ бы и не признаетъ вопроса, но зато ясно и точно отвѣчаетъ на свои независимо поставленные вопросы: это — рядъ знаній опытныхъ, и на крайней точкѣ ихъ стоитъ математика; другой рядъ знаній признаетъ вопросъ, но не отвѣчаетъ на него: это — рядъ знаній умозрительныхъ и на крайней ихъ точкѣ — метафизика.

Съ ранней молодости меня занимали умозрительныя знанія, но потомъ математическія и естественныя науки привлекли меня, и пока я не поставилъ себѣ ясно своего вопроса, пока вопросъ этотъ не выросъ самъ во мнѣ, требуя настоятельно разрѣшенія, до тѣхъ поръ я удовлетворялся тѣми поддѣлками отвѣтовъ на вопросъ, которыя даютъ знанія.

То въ области опытной я говорилъ себѣ: „Все развивается, дифференцируется, идетъ къ усложненію и усовершенствованію, и есть законы, руководящіе этимъ ходомъ. Ты — часть цѣлаго. Познавъ насколько возможно цѣлое и познавъ законъ развитія, ты познаешь и свое мѣсто въ этомъ цѣломъ и самого себя“. Какъ ни совѣстно мнѣ признаться, но было время, когда я какъ будто удовлетворялся этимъ. Это было то самое время, когда я самъ усложнялся и развивался. Мускулы мои росли и укрѣплялись, память обогащалась, способность мышленія и пониманія увеличивалась, я росъ и развивался, и, чувствуя въ

безпрестанныя противорѣчія одного мыслителя съ другими и даже съ самимъ собою. Если обратиться къ отрасли знаній, не занимающихся разрѣшеніемъ вопросовъ жизни, но отвѣчающихъ на свои научные спеціальные вопросы, то восхищаешься силой человѣческаго ума, но знаешь впередъ, что отвѣтовъ на вопросы жизни нѣтъ. Эти знанія прямо игнорируютъ вопросъ жизни. Они говорятъ: „на то, что ты такое и зачѣмъ ты живешь, мы не имѣемъ отвѣтовъ и этимъ не занимаемся; а вотъ если тебѣ нужно знать законы свѣта, химическихъ соединеній, законы развитія организмовъ, если тебѣ нужно знать законы тѣлъ, ихъ формъ и отношеніе чиселъ и величинъ, если тебѣ нужно знать законы своего ума, то на все это у насъ есть ясные, точные и несомнѣнные отвѣты“.

Вообще отношеніе наукъ опытныхъ къ вопросу жизни можетъ быть выражено такъ: Вопросъ: Зачѣмъ я живу? — Отвѣтъ: въ безконечно большомъ пространствѣ въ безконечно долгое время безконечно малыя частицы видоизмѣняются въ безконечной сложности, и когда ты поймешь законы этихъ видоизмѣненій, тогда поймешь, зачѣмъ ты живешь.

То въ области умозрительной я говорилъ себѣ: „все человѣчество живетъ и развивается на основаніи духовныхъ началъ, идеаловъ, руководящихъ имъ. Эти идеалы выражаются въ религіяхъ, въ наукахъ, искусствахъ, формахъ государственности. Идеалы эти становятся все выше и выше, человѣчество идетъ къ высшему благу. Я — часть человѣчества, и потому призваніе мое состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать сознанію и осуществленію идеаловъ человѣчества“. И я во время слабоумія своего удовлетворялся этимъ; но какъ скоро ясно возсталъ во мнѣ вопросъ

жизни, вся эта теорія мгновенно рушилась. Не говоря о той недобросовѣстной неточности, при которой знанія этого рода выдають выводы, сдѣланныя изъ изученія малой части человѣчества, за общіе выводы, не говоря о взаимной протисорѣчивости разныхъ сторонниковъ этого воззрѣнія о томъ, въ чемъ состоятъ идеалы человѣчества, — странность, чтобы не сказать глупость. этого воззрѣнія состоятъ въ томъ, что для того, чтобы отвѣтить на вопросъ, предстоящій каждому человѣку: „что я такое“, или: „зачѣмъ я живу“, или: „что мнѣ дѣлать“, — человѣкъ долженъ прежде разрѣшить вопросъ: „что такое жизнь всего неизвѣстнаго ему человѣчества, изъ которой ему извѣстна одна крошечная часть въ одинъ крошечный періодъ времени“. Для того, чтобы понять, что онъ такое, человѣкъ долженъ прежде понять, что такое все это таинственное человѣчество, состоящее изъ такихъ же людей, какъ и онъ самъ, не понимающихъ самихъ себя.

Долженъ сознаться, что было время, когда я вѣрилъ этому. Это было то время, когда у меня были свои излюбленные идеалы, оправдывавшіе мои прихоти, и я старался придумать такую теорію, по которой я могъ бы смотрѣть на свои прихоти, какъ на законъ человѣчества. Но какъ скоро возсталъ въ моей душѣ вопросъ жизни во всей ясности, отвѣтъ этотъ тотчасъ же разлетѣлся прахомъ. И я понялъ, что какъ въ наукахъ опытныхъ есть настоящія науки и полунауки, пытающіяся давать отвѣты на не подлежащіе имъ вопросы, такъ и въ этой области я понялъ, что есть цѣлый рядъ самыхъ распространенныхъ знаній, старающихся отвѣчать на неподлежащіе вопросы. Полунауки этой области — науки юридическія, соціально-историческія — пытаются разрѣшать вопросы чѣловѣка тѣмъ,

что онъ, мимо каждая по своему, разрѣшаютъ вопросъ жизни всего человѣчества.

Но какъ въ области опытныхъ знаній человекъ искренно спрашивающій, какъ ему жить, не можетъ удовлетвориться отвѣтомъ: изучи въ безконечномъ пространствѣ безконечныя по времени и сложности измѣненія безконечныхъ частицъ, и тогда ты поймешь свою жизнь, — точно такъ же не можетъ искреннѣйшій человекъ удовлетвориться отвѣтомъ: изучи жизнь всего человѣчества, котораго ни начала, ни конца мы не можемъ знать и малой части котораго мы не знаемъ, и тогда ты поймешь свою жизнь. И точно такъ же, какъ въ полунаукахъ опытныхъ, и эти полунауки тѣмъ болѣе исполнены неясностей, неточностей, глупостей и противорѣчій, чѣмъ далѣе онѣ уклоняются отъ своихъ задачъ. Задача опытной науки есть причинная послѣдовательность матеріальныхъ явленій. Стоитъ опытной наукѣ ввести вопросъ о конечной причинѣ и — получается чепуха. Сознаніе умозрительной науки есть сознаніе безпричинной сущности жизни. Стоитъ ввести изслѣдованіе причинныхъ явленій, какъ явленія социальныя, историческія, и получается чепуха.

Опытная наука тогда только даетъ положительное знаніе и являетъ величіе человѣческаго ума, когда она не вводитъ въ свои изслѣдованія конечной причины. И, наоборотъ, умозрительная наука — тогда только наука и являетъ величіе человѣческаго ума, когда она устраняетъ совершенно вопросы о послѣдовательности причинныхъ явленій и рассматриваетъ человека только по отношенію къ конечной причинѣ. Такова въ этой области наука, составляющая полюсъ области, метафизика или философія. Наука эта ясно ставитъ вопросъ: что такое я и весь міръ,

и зачѣмъ я, и зачѣмъ весь міръ? И съ тѣхъ поръ, какъ она есть, она отвѣчаетъ всегда одинаково. Идеи ли, субстанцію ли, духъ ли, волю ли называетъ философъ сущностью жизни, находящеюся во мнѣ и во всемъ существующемъ, философъ говоритъ одно, что эта сущность есть и что я есть та же сущность; но зачѣмъ она, онъ не знаетъ и не отвѣчаетъ, если онъ точный мыслитель. Я спрашиваю: зачѣмъ быть этой сущности? Что выйдетъ изъ того, что она есть и будетъ?... И философія не только не отвѣчаетъ, а сама только это и спрашиваетъ. [И если она — истинная философія, то вся ея работа только въ томъ и состоитъ, чтобъ ясно поставить этотъ вопросъ. И если она твердо держится своей задачи, то она и не можетъ отвѣчать иначе, какъ на вопросъ: что такое я и весь міръ — все и ничто, а на вопросъ: зачѣмъ? „не знаю“.

Такъ что какъ я ни верти тѣни умозрительными отвѣтами философіи, я никакъ не получу ничего похожего на отвѣтъ, — и не потому, что, какъ въ области ясной, опытной отвѣтъ относится не до моего вопроса, а потому, что тутъ, хотя вся работа умственная направлена именно на мой вопросъ, отвѣта нѣтъ, а вмѣсто отвѣта получается тотъ же вопросъ, только въ усложненной формѣ.

VI.

Въ поискахъ за отвѣтами на вопросъ жизни я испыталъ совершенно то же чувство, которое испытываетъ заблудившійся въ лѣсу человѣкъ.

Вышелъ на поляну, влѣзъ на дерево и увидалъ ясно

безпредѣльные пространства, но увидалъ, что дома тамъ нѣтъ и не можетъ быть; пошелъ въ чащу, во мракъ и увидалъ мракъ, и тоже нѣтъ и нѣтъ дома.

Такъ я блуждалъ въ этомъ лѣсу знаній человѣческихъ между просвѣтами знаній математическихъ и опытныхъ, открывавшихъ мнѣ ясныя горизонты, но такіе, по направленію которыхъ не могло быть дома, и между мракомъ умозрительныхъ знаній, въ которыхъ я погружался тѣмъ въ большій мракъ, чѣмъ дальше я подвигался, я убѣдился наконецъ въ томъ, что выхода нѣтъ и не можетъ быть.

Отдаваясь свѣтлой сторонѣ знаній, я понималъ, что я только отвожу себѣ глаза отъ вопроса. Какъ ни заманчивы, ясны были горизонты, открывавшіеся мнѣ, какъ ни заманчиво было погружаться въ безконечность этихъ знаній, я понималъ уже, что они, эти знанія, тѣмъ болѣе ясны, чѣмъ менѣе они мнѣ нужны, чѣмъ менѣе отвѣчаютъ на вопросъ.

Ну, я знаю, — говорилъ я себѣ, — все то, что такъ упорно желаетъ знать наука, а отвѣта на вопросъ о смыслѣ моей жизни на этомъ пути нѣтъ. Въ умозрительной же области я понималъ, что не смотря на то или именно потому, что цѣль знанія была прямо направлена на отвѣтъ моему вопросу, отвѣта нѣтъ иного, какъ тотъ, который я самъ далъ себѣ: какой смыслъ моей жизни? — Никакого. Или: что выйдетъ изъ моей жизни? — Ничего. Или: зачѣмъ существуетъ все то, что существуетъ, и зачѣмъ я существую? — Зачѣмъ, что существуетъ.

Спрашивая у одной стороны человѣческихъ знаній, я получалъ безчисленное количество точныхъ отвѣтовъ о томъ, о чемъ я не спрашивалъ: о химическомъ составѣ звѣздъ, о движеніи солнца къ созвѣздію Геркулеса, о про-

исхожденіи видовъ и человѣка, о формахъ безконечно малыхъ, невѣсомыхъ частицъ эфира; но отвѣтъ въ этой области знаній на мой вопросъ: въ чемъ смыслъ моей жизни, — былъ одинъ: ты то, что ты называешь твоей жизнью; ты — временное, случайное сцѣпленіе частицъ. Взаимное воздѣйствіе, измѣненіе этихъ частицъ производитъ въ тебѣ то, что ты называешь твоею жизнью. Сцѣпленіе это продержится нѣкоторое время; потомъ взаимодѣйствіе этихъ частицъ прекратится — и прекратится то, что ты называешь жизнью; прекратится и всѣ твои вопросы. Ты — случайно слѣпившійся комочекъ чего-то. Комочекъ прѣтеть. Прѣтіе это комочекъ называетъ своею жизнью. Комочекъ разкочится — и кончится прѣтіе и всѣ вопросы. Такъ отвѣчаетъ ясная сторона знаній, и ничего другого не можетъ сказать, если только она строго слѣдуетъ своимъ основамъ.

При такомъ отвѣтѣ оказывается, что отвѣтъ отвѣчаетъ не на вопросъ. Мнѣ нужно знать смыслъ моей жизни, а то, что она есть частица безконечнаго, не только не придаетъ ей смысла, но уничтожаетъ всякій возможный смыслъ.

Тѣ же неясныя сдѣлки, которыя дѣлаетъ эта сторона опытнаго, точнаго знанія съ умозрѣніемъ, при которомъ говорится, что смыслъ жизни состоитъ въ развитіи и содѣйствіи этому развитію, по неточности и неясности своей не могутъ считаться отвѣтами.

Другая сторона знанія, умозрительная, когда она строго держится своихъ основъ, прямо отвѣчая на вопросъ, вездѣ и во всѣ вѣка отвѣчаетъ и отвѣчала одно и то же: міръ есть что то безконечное и непонятное. Жизнь человѣческая есть непостижимая часть этого непостижимаго „всего“.

Опять я исключаю всё тѣ сдѣлки между умозрительными и опытными знаніями, которыя составляютъ весь балластъ полунаукъ, такъ называемыхъ юридическихъ, политическихъ, историческихъ. Въ эти науки опять также неправильно вводятся понятія развитія, совершенствованія съ тою только разницею, что тамъ — развитіе всего, а здѣсь — жизни людей. Неправильность одна и та же: развитіе, совершенствованіе въ безконечномъ не можетъ имѣть ни цѣли, ни направленія, и по отношенію къ моему вопросу ничего не отвѣчаетъ.

Тамъ же, гдѣ умозрительное знаніе точно, именно въ истинной философіи, не въ той, которую Шопенгауеръ называетъ профессорскою философіей, служащей только къ тому, чтобы распредѣлить всё существующія явленія по новымъ философскимъ графамъ и назвать ихъ новыми именами, — тамъ, гдѣ философъ не упускаетъ изъ вида существенный вопросъ, отвѣтъ всегда одинъ и тотъ же, — отвѣтъ, данный Сократомъ, Шопенгауеромъ, Соломономъ, Буддой.

„Мы приблизились къ истинѣ только настолько, насколько мы удались отъ жизни, — говоритъ Сократъ, готовясь къ смерти. — Къ чему мы, любящіе истину, стремимся къ смерти? — Къ тому, чтобы освободиться отъ тѣла и отъ всего зла, вытекающаго изъ жизни тѣла. Если такъ, то какъ же намъ не радоваться, когда смерть приходитъ къ намъ?“

„Мудрецъ всю жизнь ищетъ смерть, и потому смерть не страшна ему.“

А вотъ что говоритъ Шопенгауеръ:

„Познавши внутреннюю сущность міра, какъ волю, и во всѣхъ явленіяхъ, отъ безсознательнаго стремленія тем-

ныхъ силъ природы до полной сознаниемъ дѣятельности человѣка, признавши только предметность этой воли, мы никакъ не избѣжимъ того слѣдствія, что вмѣстѣ съ свободнымъ отрицаніемъ, самоуничтоженіемъ воли исчезнуть и всѣ тѣ явленія, то постоянное стремленіе и влеченіе безъ цѣли и отдыха на всѣхъ ступеняхъ предметности, въ которомъ и чрезъ которое состоитъ міръ, исчезнетъ разнообразіе послѣдовательныхъ формъ, исчезнуть вмѣстѣ съ формой всѣ ея явленія съ своими общими формами, пространство и временемъ, а наконецъ и послѣдняя основная его форма — субъектъ и объектъ. Нѣтъ воли, нѣтъ представленія, нѣтъ и міра. Передъ нами, конечно, остается только ничто. Но то, что противится этому переходу въ ничтожество, наша природа, есть вѣдь только эта самая воля къ существованію (*wille zum Leben*), составляющая насъ самихъ, какъ и нашъ міръ. Что мы такъ боимся ничтожества или, что то же, такъ хотимъ жить — означаетъ только, что мы сами ни что иное, какъ это хотѣніе — жизнь, и ничего не знаемъ кромѣ него. Поэтому-то, что останется по совершенномъ уничтоженіи воли для насъ, которые еще полны волей, есть, конечно, ничто; но, и наоборотъ, для тѣхъ, въ которыхъ воля обратилась и оторвалась отъ себя, для нихъ этотъ нашъ столь реальный міръ со всѣми его солнцами и млечными путями есть ничто.“

„Суета суеть, — говоритъ Соломонъ, — суета суеть — все суета! Что пользы человѣку отъ всѣхъ трудовъ его, которыми трудится онъ подъ солнцемъ? Родъ переходитъ и родъ проходитъ, а земля пребываетъ во вѣки. Что было, то и будетъ; и что дѣлалось, то и будетъ дѣлаться; и нѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ. Бываетъ нѣчто, о чемъ го-

ворять: „смотри, вотъ это новое“; но это было уже въ вѣкахъ, бывшихъ прежде насъ. Нѣтъ памяти о прежнемъ, да и о томъ, что будетъ, не останется памяти у тѣхъ, которые будутъ послѣ. Я, Екклесіастъ, былъ царемъ надъ Израилемъ Въ Іерусалимѣ. И предалъ я сердце мое тому, чтобъ изслѣдовать и испытать мудростію все, что дѣлается подъ небомъ: это тяжелое занятіе далъ богъ сынамъ человѣческимъ, чтобъ они упражнялись въ немъ. Видѣлъ я всѣ дѣла, какія дѣлаются подъ солнцемъ, и, вотъ, все суета и томленіе духа... Говорилъ я въ сердцѣ моемъ такъ: вотъ, я возвеличился, приобрѣлъ мудрости больше всѣхъ, которые были прежде меня надъ Іерусалимомъ, и сердце мое видѣло много мудрости и знанія. И предалъ я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безуміе и глупость; узналъ, что и это — томленіе духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножаетъ познанія, умножаетъ скорбь.

„Сказалъ я въ сердцѣ моемъ: дай, испытаю я себя веселіемъ и наслажусь добромъ; но и это — суета. О смѣхѣ сказалъ я: глупость, — а о веселіи: что оно дѣлаетъ? Вздумалъ я въ сердцѣ своемъ улаживать виномъ тѣло мое и, между тѣмъ, какъ сердце мое руководилось мудростію, придерживаться и глупости, доколѣ не увижу, что хорошо для сыновъ человѣческихъ, что должны были бы они дѣлать подъ небомъ въ немногіе дни своей жизни. Я принялъ большія дѣла, построилъ себѣ домъ, насадилъ себѣ виноградники. Устроилъ себѣ сады и рощи и насадилъ въ нихъ всякія плодовые деревья; сдѣлалъ себѣ водоемы для орошенія изъ нихъ рощей, произрастающихъ деревья; приобрѣлъ себѣ слугъ и служанокъ, и домочадцы были у меня; также крупнаго и мелкаго скота было у меня

больше, нежели у всѣхъ, бывшихъ прежде меня въ Иерусалимѣ; собралъ себѣ серебра и золота и драгоценностей отъ царей и областей, завелъ у себя пѣвцовъ и пѣвицъ и услажденія сыновъ человѣческихъ — разныя музыкальныя орудія. И сдѣлался я великимъ и богатымъ больше всѣхъ, бывшихъ прежде меня въ Иерусалимѣ; и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывалъ имъ, не возбранялъ сердцу моему никакого веселія. И оглянулся я на всѣ дѣла мои, которыя сдѣлали руки мои, и на трудъ, которымъ трудился я, дѣлая ихъ, и, вотъ, все — суета и томленіе духа, и нѣтъ отъ нихъ пользы подъ солнцемъ. И оглянулся я, чтобы взглянуть на мудрость и безуміе и глупость. Но узналъ я, что одна участь постигаетъ ихъ всѣхъ. И сказалъ я въ сердцѣ своемъ: и меня постигнетъ та же участь, какъ и глупаго, — къ чему же я сдѣлался очень мудрымъ? И сказалъ я въ сердцѣ моемъ, что и это — суета. Потому что мудраго не будутъ помнить вѣчно, какъ и глупаго; въ грядущіе дни все будетъ забыто, и, увы, мудрый умираетъ наравнѣ съ глупымъ! И возненавидѣлъ я жизнь, потому что противны мнѣ стали дѣла, которыя дѣлаются подъ солнцемъ, ибо все — суета и томленіе духа. И возненавидѣлъ я весь трудъ мой, которымъ трудился подъ солнцемъ, потому что долженъ оставить его человѣку, который будетъ послѣ меня. Ибо что будетъ имѣть человѣкъ отъ всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится онъ подъ солнцемъ? Потому что всѣ дни его — скорби и его труды — безпокойство; даже и ночью сердце его не знаетъ покоя. И это — суета. Не во власти человѣка и то благо, чтобъ ѣсть и пить и услаждать душу свою отъ труда своего.

„Всему и всѣмъ одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злему, честному и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; какъ добродѣтельному, такъ и грѣшнику; какъ влнущемуся, такъ и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всемъ, что дѣлается подъ солнцемъ, что одна участь всѣмъ, и сердце сыновъ человѣческихъ исполнено зла, и безуміе въ сердцахъ ихъ, въ жизни ихъ, а послѣ того они отходятъ къ умершимъ. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, такъ какъ и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знаютъ, что умрутъ, а мертвые не знаютъ ничего, и уже нѣтъ имъ воздаянія, потому что и память о нихъ предана забвенію; и любовь ихъ, и ненависть ихъ, и ревность ихъ уже исчезли, и нѣтъ имъ болѣе чести во вѣки ни въ чемъ, что дѣлается подъ солнцемъ.“

Такъ говорить Соломонъ или тотъ, кто писалъ эти слова.

А вотъ что говорить индѣйская мудрость:

Сакіа-Муни, молодой, счастливый царевичъ, отъ котораго скрыты были болѣзни, старость, смерть, ѣдетъ на гулянье и видитъ страшнаго старика, беззубаго и слюняваго. Царевичъ, отъ котораго до сихъ поръ скрыта была старость, удивляется и спрашиваетъ возницу, что это такое и отчего этотъ человѣкъ пришелъ въ такое жалкое, отвратительное и безобразное состояніе. И когда онъ узнаетъ, что это общая участь всѣхъ людей, что ему, молодому царевичу, неизбѣжно предстоитъ то же самое, онъ не можетъ уже ѣхать гулять и приказываетъ вернуться, чтобъ обдумать это. И онъ запирается одинъ и обдумываетъ. И, вѣроятно, придумываетъ себѣ какое-нибудь утѣшеніе, потому что опять веселый и счастливый выѣзжаетъ на

гулянье. Но въ этотъ разъ ему встрѣчается больной. Онъ видитъ измозженнаго, посинѣвшаго, трясущагося человѣка съ помутившимися глазами. Царевичъ, отъ котораго скрыты были болѣзни, останавливается и спрашиваетъ, что это такое. И когда онъ узнаетъ, что это — болѣзнь, которой подвержены всѣ люди, и что онъ самъ, здоровый и счастливый царевичъ, завтра можетъ заболѣть такъ же, онъ опять не имѣетъ духа веселиться, приказываетъ вернуться и опять ищетъ успокоенія и, вѣроятно, находитъ его, потому что въ третій разъ ѣдетъ гулять; но въ третій разъ онъ видитъ еще новое зрѣлище: онъ видитъ, что несутъ что-то. „Что это?“ — Мертвый человѣкъ. — „Что значитъ мертвый?“ — спрашиваетъ царевичъ. Ему говорятъ, что сдѣлаться мертвымъ, значитъ сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ сдѣлался этотъ человѣкъ. — Царевичъ подходитъ къ мертвому, открываетъ и смотритъ на него. — „Что же будетъ съ нимъ дальше?“ — спрашиваетъ царевичъ. Ему говорятъ, что его закопаютъ въ землю. — „Зачѣмъ?“ — Затѣмъ, что онъ уже навѣрно не будетъ больше никогда живой, а только будетъ отъ него смрадъ и черви. — „И это удѣлъ всѣхъ людей? И со мною то же будетъ? Меня закопаютъ и отъ меня будетъ смрадъ и меня съѣдятъ черви?“ — Да. — „Назадъ! Я не ѣду гулять и никогда не поѣду больше.“

И Сакіа-Муни не могъ найти утѣшенія въ жизни, и онъ рѣшилъ, что жизнь — величайшее зло, и всѣ силы души употребилъ на то, чтобъ освободиться отъ нея и освободить другихъ. И освободить такъ, чтобъ и послѣ смерти жизнь не возобновлялась какъ-нибудь, чтобъ уничтожить жизнь совсѣмъ въ корнѣ. Это говоритъ вся индейская мудрость.

Такъ вотъ тѣ прямые отвѣты, которые даетъ мудрость человѣческая, когда она отвѣчаетъ прямо на вопросъ жизни.

„Жизнь тѣла есть зло и ложь. И потому уничтоженіе этой жизни тѣла есть благо, и потому мы должны желать его“, говорить Сократъ.

„Жизнь есть то, чего не должно бы быть, — зло, и переходъ въ ничто есть единственное благо жизни“, говорить Шопенгауеръ.

„Все въ мірѣ — и глупость, и мудрость, и богатство, и нищета, и веселье, и горе — все суета и пустяки. Человѣкъ умретъ, и ничего не останется. И это глупо“, говорить Соломонъ.

„Жить съ сознаніемъ неизбѣжности страданій, ослабленія, старости и смерти нельзя, — надо освободить себя отъ жизни, отъ всякой возможности жизни“, говорить Будда.

И то, что сказали эти сильные умы, говорили, думали — и чувствовали миллионы миллионовъ людей подобныхъ имъ. И думаю и чувствую и я.

Такъ что блужданіе мое въ знаніяхъ не только не вывело меня изъ моего отчаянія, но только усилило его. Одно знаніе не отвѣтило на вопросы жизни, другое же знаніе отвѣтило прямо, подтверждая мое отчаяніе и указывая, что то, къ чему я пришелъ, не есть плодъ моего заблужденія, болѣзненнаго состоянія ума, — напротивъ, оно подтвердило мнѣ то, что я думалъ вѣрно и сошелся съ выводами сильнѣйшихъ умовъ человѣчества.

Обманывать себя нечего. Все — суета. Счастливъ, кто не родился, — смерть лучше жизни; надо избавиться отъ нея.

VII.

Не найдя разъясненія въ знаніи, я сталъ искать этого разъясненія въ жизни, надѣясь въ людяхъ, окружающихъ меня, найти его, и я сталъ наблюдать людей — такихъ же, какъ я, какъ они живутъ вокругъ меня и какъ они относятся къ этому вопросу, приведшему меня къ отчаянію.

И вотъ что я нашелъ у людей, находящихся въ одномъ со мною положеніи по образованію и образу жизни.

Я нашелъ, что для людей моего круга есть четыре выхода изъ того ужаснаго положенія, въ которомъ мы всѣ находимся.

Первый выходъ есть выходъ невѣдѣнія. Онъ состоитъ въ томъ, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и безсмыслица. Люди этого разряда — большею частью женщины или очень молодые или очень тупые люди — еще не поняли того вопроса жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Буддѣ. Они не видятъ ни дракона, ожидающаго ихъ, ни мышей, подтачивающихъ кусты, за которые они держатся и лижутъ капли меда. Но они лижутъ эти капли меда только до времени: лишь что-нибудь обратитъ ихъ вниманіе на дракона и-мышей и — конецъ ихъ лизанью. Отъ нихъ мнѣ нечему научиться, — нельзя перестать знать того, что знаешь.

Второй выходъ — это выходъ эпикурейства. Онъ состоитъ въ томъ, чтобы, зная безнадежность жизни, пользо-

ваться покамѣсть тѣмъ благами, какія есть, не смотрѣть ни на дракона, ни на мышей, а лизать медъ самымъ лучшимъ образомъ, особенно если его накопилось много. Соломонъ выражаетъ этотъ выходъ такъ:

„И похвалилъ я веселье, потому что нѣтъ лучшаго для человѣка подъ солнцемъ, какъ ѣсть пить и веселиться; это сопровождаетъ его въ трудахъ во дни жизни его, которые далъ ему богъ подъ солнцемъ.

„Итакъ иди, ѣшь съ весельемъ хлѣбъ твой и пей въ радости сердца вино твоё... Наслаждайся жизнью съ женщиною, которую любишь, во всѣ дни суетной жизни твоей, во всѣ суетные дни твои, потому что это — доля твоя въ жизни и трудахъ твоихъ, какими ты трудишься подъ солнцемъ... (Все, что можетъ рука твоя по силамъ дѣлать, дѣлай, потому что въ могилѣ, куда ты пойдешь, нѣтъ ни работы, ни размышленія, ни знанія, ни мудрости.“

Такъ поддерживаютъ въ себѣ возможность жизни большинство людей нашего круга. Условія, въ которыхъ они находятся, дѣлаютъ то, что благъ у нихъ больше, чѣмъ золъ, а нравственная тупость даетъ имъ возможность забывать, что выгода ихъ положенія случайна, что всѣмъ нельзя имѣть 1000 женщинъ и дворцовъ, какъ Соломонъ, что на каждого человѣка съ 1000 женъ есть 1000 людей безъ женъ и на каждый дворецъ есть 1000 людей, въ потѣ строящихъ его, и что та случайность, которая нынче сдѣлала меня Соломономъ, завтра можетъ сдѣлать меня рабомъ Соломона. Тупость же воображенія этихъ людей даетъ имъ возможность забывать про то, что не дало покоя Буддѣ — неизбежность болѣзни, старости и смерти, которая не нынче — завтра разрушитъ всѣ эти удовольствія.

Такъ думаютъ и чувствуютъ большинство людей нашего времени и образа жизни. То, что нѣкоторые изъ этихъ людей утверждаютъ, что тупость ихъ мысли и воображенія есть философія, которую они называютъ позитивной, не выдѣляетъ на мой взглядъ этихъ людей изъ разряда тѣхъ, которые, чтобы не видать вопроса, лижутъ медъ. И этимъ людямъ я не могъ подражать: не имѣя ихъ тупости воображенія, я не могъ ее искусственно произвести въ себѣ, какъ не можетъ всякій живой человѣкъ, оторвать глазъ отъ мышей и дракона, когда онъ разъ увидалъ ихъ.

Третій выходъ есть выходъ силы и энергіи. Онъ состоитъ въ томъ, чтобы, понявъ, что жизнь есть зло и безсмыслица, уничтожить ее. Такъ поступаютъ рѣдкіе, сильные и послѣдовательные люди. Понявъ всю глупость шутокъ, какая надъ ними сыграна, и понявъ, что блага умершихъ паче благъ живыхъ и что лучше всего не быть, такъ и поступаютъ и кончаютъ сразу эту глупую шутку, благо есть средства: петля на шею, вода, ножъ, чтобы имъ проткнуть сердце, поѣзды на желѣзныхъ дорогахъ. И людей изъ нашего круга, поступающихъ такъ, становится все больше и больше. И поступаютъ люди такъ большею частью въ самый лучший періодъ жизни, когда силы души находятся въ самомъ расцвѣтѣ, а уничтожающихъ человѣческій разумъ привычекъ еще усвоено мало. Я видѣлъ, что это самый достойный выходъ, и хотѣлъ поступить такъ.

Четвертый выходъ есть выходъ слабости. Онъ состоитъ въ томъ, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная впередъ, что ничего изъ нея выйти не можетъ. Люди этого разбора знаютъ, что смерть лучше жизни, но, не имѣя силъ поступить разумно, поско-

рѣе кончить обманъ и убить себя, чего то какъ будто ждуть. Это есть выходъ слабости, ибо если я знаю лучшее и оно въ моей власти, почему не отдаться лучшему?... Я находился въ этомъ разрядѣ.

Такъ люди моего разбора четырьмя путями спасаются отъ ужаснаго противорѣчія. Сколько я ни напрягалъ своего умственнаго вниманія, кромѣ этихъ четырехъ выходовъ я не видалъ еще иного. Одинъ выходъ: не понимать того, что жизнь есть бессмыслица, суета и зло, и что лучше не жить. Я не могъ не знать этого, и когда разъ узналъ, не могъ закрыть на это глаза. Другой выходъ — пользоваться жизнью такою, какая есть, не думая о будущемъ. И этого не могъ сдѣлать. Я, какъ Сакія-Муни, не могъ ѣхать на охоту, когда зналъ, что есть старость, страданія, смерть. Воображеніе у меня было слишкомъ живо. Кромѣ того, я не могъ радоваться минутной случайности, кинувшей на мгновеніе наслажденіе на мою долю, Третій выходъ: понявъ, что жизнь есть зло и глупость, прекратить, убить себя. Я понималъ это, но почему-то все еще не убивалъ себя. Четвертый выходъ — жить въ положеніи Соломона, Шопенгауера — знать, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мною шутка, и все-таки жить, умываться, одѣваться, обѣдать и даже книжки писать. Это было для меня отвратительно, мучительно, но я оставался въ этомъ положеніи.

Оно было такое: я, мой разумъ — признали, что жизнь неразумна. Если нѣтъ высшаго разума (а его нѣтъ, и ничто доказать его не можетъ), то разумъ есть творецъ жизни для меня. Не было бы разума, не было бы для меня и жизни. Какъ же этотъ разумъ отрицаетъ жизнь, а онъ самъ творецъ жизни? Или, съ другой стороны: еслибы не было жизни, не было бы и моего разума, — стало быть

разумъ есть сынъ жизни. Жизнь есть все. Разумъ есть плодъ жизни, и разумъ этотъ отрицаетъ самую жизнь. Я чувствовалъ, что тутъ что-то неладно.

Жизнь есть бессмысленное зло, это несомнѣнно, — говорилъ я себѣ. — Но я жилъ, живу еще, и жило и живетъ все человѣчество. Какъ же такъ? Зачѣмъ же оно живетъ, когда можетъ не жить? Что жъ, я одинъ съ Шопенгауэромъ такъ уменъ, что понималъ бессмысленность и зло жизни?

Разсужденіе о тщетѣ жизни не такъ хитро, и его дѣлаютъ давно и всѣ самые простые люди, а жили они и живутъ. Что жъ, они-то всѣ живутъ и никогда и не думаютъ сомнѣваться въ разумности жизни?

Мое знаніе, подтвержденное мудростью мудрецовъ, открыло мнѣ, что все на свѣтѣ — органическое и неорганическое — все необыкновенно умно устроено, только мое одно положеніе глупо. А эти дураки — огромныя массы простыхъ людей — ничего не знаютъ насчетъ того, какъ все органическое и неорганическое устроено на свѣтѣ, а живутъ, и имъ кажется, что ихъ жизнь очень разумно устроена!...

И мнѣ приходило въ голову: а что, какъ я чего-нибудь еще не знаю? Вѣдь точно такъ поступаетъ незнаніе. Незнаніе вѣдь всегда это самое говорить. Когда оно не знаетъ чего-нибудь, оно говоритъ, что глупо то, чего оно не знаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, выходитъ такъ, что есть человѣчество цѣлое, которое жило и живетъ, какъ будто понимая смыслъ своей жизни, ибо, не понимая его, оно не могло бы жить, а я говорю, что вся эта жизнь есть бессмыслица, и не могу жить.

Никто не мѣшаетъ намъ отрицать жизнь самоубійствомъ.

Но тогда убей себя и — не будешь разсуждать. Не нравится тебѣ жизнь, убей себя. А живешь и не можешь понять смысла жизни, тогда прекрати ее, а не вертись въ этой жизни, рассказывая и расписывая, что ты не понимаешь жизни. Пришелъ въ веселую компанію; всѣмъ очень хорошо, всѣ знаютъ, что они дѣлаютъ, а тебѣ скучно и противно, такъ уйди.

Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, что же такое мы, убѣжденные въ необходимости самоубійства и нерѣшающіеся совершить его, какъ не самые слабые, непослѣдовательные и, говоря попросту, глупые люди, носящіеся съ своею глупостью, какъ дуракъ съ писанной торбой?

Вѣдь наша мудрость, какъ ни несомнѣнно вѣрна она, не дала намъ знанія смысла нашей жизни. Все же человечество, дѣлающее жизнь, милліоны — не сомнѣваются въ смыслѣ жизни.

Въ самомъ дѣлѣ, съ тѣхъ давнихъ, давнихъ поръ, какъ есть жизнь, о которой я чтонибудь да знаю, жили люди, зная то разсужденіе о тщетѣ жизни, которое мнѣ показало ея бессмыслицу, и все-таки жили, придавая ей какой то смыслъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ началась какаянибудь жизнь людей, у нихъ уже былъ этотъ смыслъ жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Все, что есть во мнѣ и около меня, все — и плотское и неплотское, все это — плодъ ихъ знанія жизни. Тѣ самыя орудія мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю ее, — все это не мной, а ими сдѣлано. Самъ я родился, воспитался, выросъ, благодаря имъ. Они выковали желѣзо, научили рубить лѣсъ, приручили коровъ, лошадей, научили сѣять, научили жить вмѣстѣ, урядили нашу жизнь; они научили меня

думать, говорить. И я-то — ихъ произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими паученный, ихъ мыслями и словами — доказаль имъ, что они — бессмыслица! Тутъ что-то не такъ, — говорилъ я себѣ. — Гдѣ-нибудь я ошибся. Но въ чемъ была ошибка, я никакъ не могъ найти.

VIII.

Всѣ эти сомнѣнія, которыя теперь я въ состояніи высказать болѣе и или менѣе связно, тогда я не могъ бы высказать. Тогда я только чувствовалъ, что какъ ни логически неизбѣжны были мои подтверждаемые величайшими мыслителями выводы о тщетѣ жизни, въ нихъ было что то неладно. Въ самомъ ли разсужденіи, въ постановкѣ ли вопроса, я не зналъ, — я чувствовалъ только, что убѣдительность разумная была совершенная, но что ея было мало. Всѣ эти выводы не могли убѣдить меня такъ, чтобъ я сдѣлалъ то, что вытекало изъ моихъ разсужденій, т. е. чтобъ я убилъ себя. И я бы сказалъ неправду, если бы сказалъ, что я разумомъ пришелъ къ тому, къ чему я пришелъ, и не убилъ себя. Разумъ работалъ, но работало и еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, какъ сознаніемъ жизни. Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать вниманіе на то, а не на это, и эта-то сила вывела меня изъ моего отчаяннаго положенія и совершенно иначе направила разумъ. Эта сила заставила меня обратить вниманіе на то, что я съ сотнями подобныхъ мнѣ людей не есть все человѣчество, что жизни человѣчества я еще не знаю.

Оглядывая тѣсный кружокъ сверстныхъ мнѣ людей, я видѣлъ только людей, не понимавшихъ вопроса, понимавшихъ и заглушавшихъ вопросъ пьянствомъ жизни, появлявшихся и прекращавшихъ жизнь и появлявшихся и по слабости доживавшихъ отчаянную жизнь. И я не видалъ иныхъ. Мнѣ казалось, что тотъ тѣсный кружокъ ученыхъ, богатыхъ и досужихъ людей, къ которому я принадлежалъ, составляетъ все человѣчество, а что тѣ миллиарды жившихъ и живыхъ, это — такъ, какіе-то скоты, не люди.

Какъ ни странно, ни неимоверно-непонятно кажется мнѣ теперь то, какъ могъ я, разсуждая про жизнь, просмотрѣть окружавшихъ меня со всѣхъ сторонъ, жизнь человѣчества, какъ я могъ до такой степени смѣшно заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя, Соломоновъ и Шопенгауеровъ есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь миллиардовъ есть не стоющее вниманія обстоятельство, — какъ ни странно это мнѣ теперь, я вижу, что это было такъ. (Въ заблужденіи гордости своего ума мнѣ такъ казалось несомнѣннымъ, что мы съ Соломономъ и Шопенгауеромъ поставили вопросъ такъ вѣрно и истинно, что другого ничего быть не можетъ, — такъ несомнѣнно казалось, что всѣ эти миллиарды принадлежатъ къ тѣмъ, которые еще не дошли до постиженія всей глубины вопроса, что я искалъ смысла своей жизни и ни разу не подумалъ: „да какой же смыслъ придаютъ и придавали всѣ миллиарды, жившіе и живущіе на свѣтѣ?“).

Я долго жилъ въ этомъ сумасшествіи, особенно свойственнымъ не на словахъ, по на дѣлѣ намъ — самымъ либеральнымъ и ученымъ людямъ. Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви къ настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидеть,

что онъ не такъ глупъ, какъ мы думаемъ, или благодаря искренности моего убѣжденія въ томъ, что я ничего не могу знать, какъ то, что самое лучшее, что я могу сдѣлать — это повѣситься, — я чуялъ, что если я хочу жить и понимать смыслъ жизни, то искать этого смысла жизни мнѣ надо не у тѣхъ, которые потеряли смыслъ жизни и хотятъ убить себя, а у тѣхъ миллиардовъ отжившихъ и живыхъ людей, которые дѣлаютъ и на себѣ несутъ свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромныя массы отжившихъ и живущихъ простыхъ, не ученыхъ и не богатыхъ людей и увидалъ совершенно другое. Я увидалъ, что всѣ эти миллиарды жившихъ и живущихъ людей, всѣ, за рѣдкими исключеніями, не подходятъ къ моему дѣленію, что призвать ихъ непонимающими вопроса я не могу, потому что они сами ставятъ и съ необыкновенной ясностью отвѣчаютъ на него. Признать ихъ эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь ихъ складывается больше изъ лишеній и страданій, чѣмъ наслажденій; признать же ихъ неразумно доживающими бессмысленную жизнь могу еще меньше, такъ какъ всякій актъ ихъ жизни и самая смерть объясняются ими. Убивать же себя они считаютъ величайшимъ зломъ. Оказывалось, что у всего человѣчества есть какое-то непризнаваемое и презираемое мною знаніе смысла жизни. Выходило то, что знаніе разумное не даетъ смысла жизни, исключаетъ жизнь; смыслъ же, придаваемый жизни миллиардами людей, всѣмъ человѣчествомъ, зиждется на какомъ-то презрѣнномъ ложномъ знаніи.

Разумное знаніе въ лицѣ ученыхъ и мудрыхъ отрицаетъ смыслъ жизни, а огромныя массы людей, все человѣчество — признаютъ этотъ смыслъ въ неразумномъ знаніи. И это неразумное знаніе есть вѣра та самая, которую я не

могъ не откинуть. Это Богъ 1 и 3, это твореніе въ 6 дней, дьяволы и ангелы и все то, чего я не могу принять, пока я не сошелъ съ ума.

Положеніе мое было ужасно. Я зналъ, что я ничего не найду на пути разумнаго знанія, кромѣ отрицанія жизни, а тамъ, въ вѣрѣ — ничего, кромѣ отрицанія разума, которое еще невозможно, чѣмъ отрицаніе жизни. По разумному знанію выходило такъ, что жизнь есть зло, и люди знаютъ это, — отъ людей зависить не жить, а они жили и живутъ, и самъ я жилъ, хотя и зналъ уже давно то, что жизнь бессмысленна и есть зло. По вѣрѣ выходило, что для того, чтобы понять смыслъ жизни, я долженъ отречься отъ разума, того самаго, для котораго нуженъ смыслъ.

IX

Выходило противорѣчіе, изъ котораго было только два выхода: или то, что я называлъ разумнымъ, не было такъ разумно, какъ я думалъ, или то, что мнѣ казалось неразумно, не было такъ неразумно, какъ я думалъ. И я сталъ провѣрять ходъ разсужденій моего разумнаго знанія.

Провѣряя ходъ разсужденій разумнаго знанія, я нашелъ его совершенно правильнымъ. Выводъ о томъ, что жизнь есть ничто, былъ неизбеженъ; но я увидалъ ошибку. Ошибка была въ томъ, что я мыслилъ несоответственно поставленному мною вопросу. Вопросъ былъ тотъ: зачѣмъ мнѣ жить, т. е. что выйдетъ настоящаго, не уничтожающагося изъ моей призрачной, уничтожающейся жизни, —

какой смысл имѣетъ мое конечное существованіе въ этомъ безконечномъ мірѣ? И, чтобъ отвѣтить на этотъ вопросъ, я изучалъ жизнь.

Рѣшенія всѣхъ возможныхъ вопросовъ жизни, очевидно, не могли удовлетворять меня, потому что мой вопросъ, какъ онъ ни простъ кажется сначала, включаетъ въ себѣ требованіе объясненія конечнаго безконечнымъ и наоборотъ.

Я спрашивалъ: какое вѣвременное, вѣпричинное, вѣпространственное значеніе моей жизни? — А отвѣчалъ я на вопросъ: какое временное, причинное и пространственное значеніе моей жизни?... Вышло то, что послѣ долгаго труда мысли я отвѣтилъ: никакого.

Въ разсужденіяхъ моихъ я постоянно приравнивалъ, да и не могъ поступить иначе, конечное къ конечному и безконечное къ безконечному, а потому у меня и выходило, что и должно было выходить: сила есть сила, вещество есть вещество, воля есть воля, безконечность есть безконечность, ничто есть ничто, — и дальше ничего не могло выйти.

Было что-то подобное тому, что бываетъ въ математикѣ, когда думая рѣшать уравненіе, рѣшаешь тождество. Ходъ размысленія правиленъ, но въ результатѣ получается отвѣтъ: $a = a$, или $x = x$, или $0 = 0$. То же самое случилось и съ моимъ разсужденіемъ по отношенію къ вопросу о значеніи моей жизни. Отвѣты, даваемые всею наукою на этотъ вопросъ — только тождества.

И дѣйствительно, строго-разумное знаніе, которое, какъ это сдѣлалъ Декартъ, начинается съ полнаго сомнѣнія во всемъ, откидываетъ всякое допущенное на вѣру знаніе и строить все вновь на законахъ разума и опыта, — и не

можетъ дать иного отвѣта на вопросъ жизни, какъ тотъ самый, который я и получилъ, — отвѣтъ неопредѣленный. Мнѣ только показалось сначала, что знаніе дало положительный отвѣтъ — отвѣтъ Шопенгауера: жизнь не имѣетъ смысла, она есть зло; но, разобравъ дѣло, я понялъ, что отвѣтъ не положительный, что мое чувство только выразило его такъ. Отвѣтъ же строго выраженный, какъ онъ и выраженъ и у браминовъ, и у Соломона, и у Шопенгауера, есть только отвѣтъ неопредѣленный или тожество $0 = 0$, жизнь есть ничто. Такъ что знаніе философское ничего не отрицаетъ, а только отвѣчаетъ, что вопросъ этотъ не можетъ быть рѣшенъ имъ, что для него рѣшеніе остается неопредѣленнымъ.

Понявъ это, я понялъ, что нельзя было искать въ разумномъ знаніи отвѣта на мой вопросъ и что отвѣтъ, даваемый разумнымъ знаніемъ, есть только указаніе на то, что отвѣтъ можетъ быть полученъ только при иной постановкѣ вопроса, только тогда, когда въ разсужденіе будетъ введенъ вопросъ отношенія конечнаго къ безконечному. Я понялъ и то, что какъ ни неразумны и уродливы отвѣты, даваемые вѣрою, они имѣютъ то преимущество, что вводятъ въ каждый отвѣтъ отношеніе конечнаго къ безконечному, безъ котораго не можетъ быть отвѣта.

Какъ я ни поставлю вопросъ: какъ мнѣ жить, — отвѣтъ: по закону божію. Что выйдетъ изъ настоящаго моей жизни? — Вѣчныя мученія или вѣчное блаженство. Какой смыслъ, не уничтожаемый смертію? — Соединеніе съ безконечнымъ богомъ, рай.

Такъ что кромѣ разумаго знанія, которое мнѣ прежде представлялось единственнымъ, я былъ неизбѣжно приведенъ къ признанію того, что у всего живущаго человѣче-

ства есть еще какое-то другое знаніе неразумное — вѣра, дающая возможность жить.

Вся неразумность вѣры оставалась для меня та же, какъ и прежде, но я не могъ не признать того, что она одна даетъ человѣчеству вопросы на отвѣты жизни и вслѣдствіе того возможность жить.

Разумное знаніе привело меня къ признанію того, что жизнь безсмысленна, — жизнь моя остановилась, и я хотѣлъ уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человѣчество, я увидалъ, что люди живутъ и утверждаютъ, что знаютъ смыслъ жизни. На себя оглянѣлся: я жилъ, пока зналъ смыслъ жизни. Какъ другимъ людямъ, такъ и мнѣ смыслъ жизни и возможность жизни давала вѣра.

Оглянувшись дальше на людей другихъ странъ, на современныхъ мнѣ и на отжившихъ, я увидалъ одно и то же. Гдѣ жизнь, тамъ вѣра съ тѣхъ поръ, какъ есть человѣчество, даетъ возможность жить, и главныя черты вѣры вездѣ и всегда однѣ и тѣ же.

Какіе бы и кому бы ни давала отвѣты какая бы то ни была вѣра, всякій отвѣтъ вѣры конечному существованію человѣка придаетъ смыслъ безконечнаго, — смыслъ, не уничтожаемый страданіями, лишеніями и смертью. Значить — въ одной вѣрѣ можно найти смыслъ и возможность жизни. Что же такое эта вѣра? И я понялъ, что вѣра не есть только обличеніе вещей невидимыхъ и т. д., но есть откровеніе (это есть только описаніе одного изъ признаковъ вѣры), не есть отношеніе человѣка къ богу (надо опредѣлить вѣру, а потомъ бога, а не черезъ бога опредѣлять вѣру), не есть только согласіе съ тѣмъ, что сказали чело-вѣку, какъ чаще всего понимается вѣра, — вѣра есть знаніе смысла человѣческой жизни, вслѣдствіе котораго

человѣкъ не уничтожаетъ себя, а живетъ. Вѣра есть сила жизни. Если человѣкъ живетъ, то онъ во что-нибудь да вѣритъ. Если бы онъ не вѣрилъ, что для чего-нибудь надо жить, то онъ бы не жилъ. Если онъ не видитъ и не понимаетъ призрачности конечности, онъ вѣритъ въ это конечное; если онъ понимаетъ призрачность конечнаго, онъ долженъ вѣрить въ безконечное. Безъ вѣры нельзя жить.

И я вспомнилъ весь ходъ своей внутренней работы и ужаснулся. Теперь мнѣ было ясно, что для того, чтобы человѣкъ могъ жить, ему нужно или не видѣть безконечнаго или имѣть такое объясненіе смысла жизни, при которомъ конечное приравнивалось бы безконечному. Такое объясненіе у меня было, но оно мнѣ было не нужно, пока я вѣрилъ въ конечное, и я сталъ разумомъ провѣрять его. И передъ свѣтохъ разума все прежнее объясненіе разлетѣлось прахомъ; но пришло время, когда я пересталъ вѣрить въ конечное. И тогда я сталъ на разумныхъ основаніяхъ строить изъ того, что я зналъ, такое объясненіе, которое дало бы смыслъ жизни; но ничего не построилось. Вмѣстѣ съ лучшими умами человѣчества я пришелъ къ тому, что $0 = 0$, и очень удивился, что получилъ такое рѣшеніе, тогда какъ ничего иного и не могло выйти.

Что я дѣлалъ, когда я искалъ отвѣта въ знаніяхъ опытныхъ? — Я хотѣлъ узнать, зачѣмъ я живу, и для этого изучалъ все то, что внѣ меня. Ясно, что я могъ узнать многое, но ничего изъ того, что мнѣ нужно.

Что я дѣлалъ, когда я искалъ отвѣта въ знаніяхъ философскихъ? Я изучалъ мысли тѣхъ существъ, которые находились въ томъ же самомъ положеніи, какъ и я, которые не имѣли отвѣта на вопросъ: зачѣмъ я живу. Ясно,

что я ничего и не могъ узнать иначе, какъ то, что я самъ зналъ, что ничего знать нельзя.

Что такое я? — Часть безконечнаго. Вѣдь уже въ этихъ двухъ словахъ лежитъ вся задача.

Неужели этотъ вопросъ только со вчерашняго дня сдѣлало себѣ человѣчество? И неужели никто до меня не задавалъ себѣ этого вопроса, — вопроса такого простого, просящагося на языкъ каждому умному дитяти?

Вѣдь этотъ вопросъ былъ поставленъ съ тѣхъ поръ, какъ люди есть, и съ тѣхъ поръ, какъ люди есть; понятно, что для рѣшенія этого вопроса одинаково недостаточно приравнивать конечное къ конечному, и съ тѣхъ поръ, какъ люди есть, отысканы отношенія конечнаго къ безконечному и выражены.

Всѣ эти понятія, при которыхъ приравнивается конечное къ безконечному и получается смыслъ жизни, понятія бога, свободы, добра, мы подвергаемъ логическому изслѣдованію. И эти понятія не выдерживаютъ критики разума.

Еслибы не было такъ ужасно, было бы смѣшно, съ какою гордостью и самодовольствомъ мы, какъ дѣти, разбираемъ часы, вынимаемъ пружину, дѣлаемъ изъ нея игрушку и потомъ удивляемся, что часы перестаютъ идти.

Нужно и дорого разрѣшеніе противорѣчія конечнаго съ безконечнымъ и отвѣтъ на вопросъ жизни такой, при которомъ возможна жизнь. И это единственное разрѣшеніе, которое мы находимъ вездѣ, всегда и у всѣхъ народовъ, — разрѣшеніе, вынесенное изъ времени, въ которомъ тѣрится для насъ жизнь людей, разрѣшеніе столь трудное, что мы ничего подобнаго сдѣлать не можемъ, это-то разрѣшеніе мы легкомысленно разрушаемъ съ тѣмъ, чтобы

поставить опять тотъ вопросъ, который присущъ всякому и на который у насъ нѣтъ отвѣта.

Понятіе безконечнаго бога, божественности души, связн дѣлъ людскихъ съ богомъ, единства, сущности души, чело-вѣческаго понятія нравственнаго добра и зла — суть понятія, выработанныя въ скрывающейся безконечности мы-сли чело-вѣческой, суть тѣ понятія, безъ которыхъ не было бы жизни и меня самого, а я, отринувъ всю эту работу всего чело-вѣчества, хочу все самъ сдѣлать по новому и по своему.

Я не такъ думалъ тогда, но зародыши этихъ мыслей уже были во мнѣ. Я понималъ, 1) что мое положеніе съ Шопенгауеромъ и Соломономъ, не смотря на нашу мудрость, глупо: мы понимаемъ, что жизнь есть зло, и все таки жи-вемъ. Это явно глупо, потому что если жизнь глупа, — а я такъ люблю все разумное, — то надо уничтожить жизнь, и некому будетъ отрицать ее. 2) Я понималъ, что всѣ наши разсужденія вертятся въ заколдованномъ кругѣ, какъ ко-лесо, не цѣпляющееся за шестерню. Сколько бы и какъ бы хорошо мы ни разсуждали, мы не можемъ получить отвѣта на вопросъ, и всегда будетъ $0 = 0$, и что потому путь нашъ вѣроятно ошибоченъ. 3) Я начиналъ понимать, что въ отвѣтахъ, даваемыхъ вѣрою, хранится глубочайшая мудрость чело-вѣчества и что я не имѣлъ права отрицать ихъ на основаніи разума и что главные отвѣты эти одни отвѣчаютъ на вопросъ жизни.

X.

Я понимал¹¹ это, но отъ этого мнѣ было не легче.

Я готовъ былъ принять теперь всякую вѣру, только бы она не требовала отъ меня прямого отрицанія разума, которое было бы ложью. И я изучалъ и буддизмъ и магометанство по книгамъ, и болѣе всего христіанство и по книгамъ и по живымъ людямъ, окружавшимъ меня.

Я естественно обратился къ вѣрующимъ людямъ моего круга, къ людямъ ученымъ, къ православнымъ богословамъ, къ монахамъ, старцамъ, къ православнымъ богословамъ новаго отъѣнка и даже къ такъ называемымъ новымъ христіанамъ, исповѣдающимъ спасеніе вѣрою въ искупленіе. И я ухватывался за этихъ вѣрующихъ и допрашивалъ ихъ о томъ, какъ они вѣрятъ и въ чемъ видятъ смыслъ жизни.

Не смотря на то, что я дѣлалъ всевозможныя уступки, избѣгалъ всякихъ споровъ, я не могъ принять вѣры этихъ людей, — я видѣлъ, что то, что выдавали они за вѣру, не было объясненіе а затемненіе смысла жизни, и что сами они утверждали свою вѣру не для того, чтобъ отвѣтить на тотъ вопросъ жизни, который привелъ меня къ вѣрѣ, а для какихъ-то другихъ чуждыхъ мнѣ цѣлей.

Помню мучительное чувство ужаса возвращенія къ прежнему отчаянію послѣ надежды, которую я испытывалъ много и много разъ въ сношеніяхъ съ этими людьми.

Чѣмъ больше, подробнѣе они излагали мнѣ свои вѣро-

ученія, тѣмъ яснѣе я видѣлъ ихъ заблужденіе и потерю моеѣ надежды найти въ ихъ вѣрѣ объясненіе смысла жизни.

Не то, что въ изложеніи своего вѣроученія они принимали къ всегда бывшимъ мнѣ близкими христіанскимъ истинамъ еще много ненужныхъ и неразумныхъ вещей, — не это оттолкнуло меня; но меня оттолкнуло то, что жизнь этихъ людей была та же, какъ и моя, съ тою только разницей, что она не соотвѣтствовала тѣмъ самымъ началамъ, которыя они излагали въ своемъ вѣроученіи. Я ясно чувствовалъ, что они обманываютъ себя и что у нихъ, такъ же, какъ у меня, нѣтъ другого смысла жизни, какъ того, чтобы жить, пока живется, и брать все, что можетъ взять рука. Я видѣлъ это потому, что еслибъ у нихъ былъ тотъ смыслъ, при которомъ уничтожается страхъ лишеній, страданій и смерти, то они бы не боялись ихъ. А они, эти вѣрующіе нашего круга, точно такъ же, какъ и я, жили въ достаткѣ и избыткѣ, старались увеличить или сохранить его, боялись лишеній, страданій, смерти, и такъ же, какъ я и всѣ мы, невѣрующіе, жили — удовлетворяя похотямъ, жили такъ же дурно, если не хуже, чѣмъ невѣрующіе.

Никакія разсужденія не могли убѣдить меня въ истинности ихъ вѣры. Только такія дѣйствія, которыя бы показывали, что у нихъ есть смыслъ жизни такой, при которомъ страшныя мнѣ нищета, болѣзнь, смерть — не страшныя, могли бы убѣдить меня. А такихъ дѣйствій я не видѣлъ между этими разнообразными вѣрующими нашего круга. Я видѣлъ такія дѣйствія, напротивъ, между людьми нашего круга самыми невѣрующими, но никогда между такъ называемыми вѣрующими нашего круга.

И я понял, что вѣра этихъ людей — не та вѣра, которой я искалъ, что ихъ вѣра не есть вѣра, а только одно изъ эпикурейскихъ утѣшеній жизни. Я понял, что вѣра эта годится можетъ быть хоть не для утѣшенія, а для нѣкотораго разсѣянія раскаивающемуся Соломону на смертномъ одрѣ, но она не можетъ годиться для огромнаго большинства человѣчества, которое призвано не потѣшаться, пользуясь трудами другихъ, а творить жизнь. Для того, чтобы все человѣчество могло жить, для того, чтобы оно продолжало жизнь, придавая ей смыслъ, — у нихъ, у этихъ милліардовъ, должно быть другое, настоящее знаніе вѣры. Вѣдь не то, что мы съ Соломономъ и Шопенгауеромъ не убили себя, не это убѣдило меня въ существованіи вѣры, а то, что жили эти милліарды и живутъ и насъ съ Соломонами вынесли на своихъ волнахъ жизни.

И я сталъ сближаться съ вѣрующими изъ бѣдныхъ, простыхъ неученыхъ людей, съ странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вѣроученіе этихъ людей изъ народа было тоже христіанское, какъ вѣроученіе мнимовѣрующихъ изъ нашего круга. Къ истинамъ христіанскимъ пришлано были тоже очень много суевѣрій, но разница была въ томъ, что суевѣрія вѣрующихъ нашего круга были совсѣмъ не нужны имъ, не вязались съ ихъ жизнью, были только своего рода эпикурейской потѣхой; суевѣрія же вѣрующихъ изъ трудового народа были до такой степени связаны съ ихъ жизнью, что нельзя было себя представить ихъ жизни безъ этихъ суевѣрій, — они были необходимыми условіемъ этой жизни. Вся жизнь вѣрующихъ нашего круга была противорѣчіемъ ихъ вѣрѣ, а вся жизнь людей вѣрующихъ и трудящихся была подтвержденіемъ того смысла жизни, который давало знаніе вѣры. И я сталъ

вглядываться въ жизнь и вѣрованія этихъ людей, и чѣмъ больше я вглядывался, тѣмъ больше убѣждался, что у нихъ есть настоящая вѣра, что вѣра ихъ необходима для нихъ и она одна даетъ имъ смыслъ и возможность жизни. Въ противоположность тому, что я видѣлъ въ нашемъ кругу, гдѣ возможна жизнь безъ вѣры и гдѣ изъ 1000 едва ли одинъ признаетъ себя вѣрующимъ, въ ихъ средѣ едва ли одинъ невѣрующій на тысячи. Въ противоположность тому, что я видѣлъ въ нашемъ кругу, гдѣ вся жизнь проходитъ въ праздности, потѣхахъ и недовольствѣ жизнью, я видѣлъ, что вся жизнь этихъ людей происходила въ тяжеломъ трудѣ, и они были довольны жизнью. Въ противоположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишенія и страданія, эти люди принимали болѣзни и горести безъ всякаго недоразумѣнія, противленія, а съ спокойною и твердою увѣренностью въ томъ, что все это должно быть и не можетъ быть иначе, что все это — добро. Въ противоположность тому, что чѣмъ мы умнѣе, тѣмъ менѣе принимаемъ смыслъ жизни и видимъ какую-то злую насмѣшку въ томъ, что мы страдаемъ и умираемъ, эти люди живутъ, страдаютъ и приближаются къ смерти, и страдаютъ съ спокойствіемъ, чаще же всего съ радостью. Въ противоположность тому, что спокойная смерть, смерть безъ ужаса и отчаянія есть самое рѣдкое исключеніе въ нашемъ кругѣ, — смерть беспокойная, непокорная и нерадостная есть самое рѣдкое исключеніе среди народа. И такихъ людей, лишенныхъ всего того, что для насъ съ Соломономъ есть единственное благо жизни, и испытывающихъ при этомъ величайшее счастье, многое множество. Я оглянулся шире вокругъ себя. Я вглядѣлся въ жизнь прошедшихъ и современныхъ огром-

ныхъ массъ людей. И я видѣлъ такихъ, понявшихъ смыслъ жизни, умѣющихъ жить и умирать, не двухъ, трехъ, десять, а сотни тысячи, миллионы. И всѣ они, безконечно различные по своему нраву, уму, образованію положенію, всѣ одинаково и совершенно противоположно моему невѣдѣнію знали смыслъ жизни и смерти, покойно трудились, переносили и страданія, жили и умирали, видя въ этомъ не суету, а добро.

И я любилъ этихъ людей. Чѣмъ больше я вникалъ въ ихъ жизнь, живыхъ людей и жизнь умершихъ людей, про которыхъ я читалъ и слышалъ, тѣмъ больше я любилъ ихъ и тѣмъ легче мнѣ самому становилось жить. Я жилъ такъ года два, и со мной случился переворотъ, который давно готовился во мнѣ и задатки котораго всегда были во мнѣ. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатыхъ ученыхъ — не только опротивѣла мнѣ, но потеряла всякій смыслъ. Всѣ наши дѣйствія, разсужденія, наука, искусства — все это предстало мнѣ въ новомъ значеніи. Я понялъ, что все это — одно баловство, что искать смысла въ этомъ нельзя. Жизнь же всего трудящагося народа, всего человѣчества, творящаго жизнь, представлялась мнѣ въ ея настоящемъ значеніи. Я понялъ, что это — сама жизнь и что смыслъ, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принялъ его.

XI.

И вспомнивъ то, какъ тѣ же самыя вѣрованія отталкивали меня и казались бессмысленными, когда ихъ исповѣ-

дывали люди, жившіе противно этимъ вѣрованіямъ, и какъ эти же самыя вѣрованія привлекли меня и показались мнѣ разумными, когда я видѣлъ, что люди живутъ ими, — я понялъ, почему я тогда откинулъ эти вѣрованія и почему нашелъ ихъ бессмысленными тогда, а теперь принялъ ихъ и нашелъ полными смысла. Я понялъ, что я заблудился и какъ я заблудился. Я заблудился не столько отъ того, что неправильно мыслилъ сколько отъ того, что я жилъ дурно. Я понялъ, что истину закрыло отъ меня не столько заблужденіе моей мысли, сколько самая моя жизнь въ тѣхъ исключительныхъ условіяхъ эпикурейства, удовлетворенія похотямъ, въ которыхъ я провелъ се. Я понялъ, что мой вопросъ о томъ, что есть моя жизнь, и отвѣтъ: зло, — были совершенно правильны. Неправильно было только то, что отвѣтъ относящійся только ко мнѣ, я отнесъ къ жизни вообще: я спросилъ себя, что такое моя жизнь, и получилъ отвѣтъ: зло и бессмыслица. И точно, моя жизнь — жизнь потворства, похоти — была бессмысленна и зла, и потому отвѣтъ: „жизнь зла и бессмысленна“ — относился только къ моей жизни, а не къ жизни людской вообще. Я понялъ ту истину, вполнѣдствіи найденную мною въ евангеліи, что люди болѣе возлюбили тьму, нежели свѣтъ, потому что дѣла ихъ были злы. Ибо всякій, дѣлающій худыя дѣла, ненавидитъ свѣтъ и не идетъ къ свѣту, чтобы не обличились дѣла его. Я понялъ, что для того, чтобы понять смыслъ жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потомъ уже — разумъ для того, чтобы понять ее. Я понялъ, почему я такъ долго ходилъ около такой очевидной истины и что если думать и говорить о жизни человѣчества, то надо говорить и думать о жизни человѣчества, а не о жизни нѣсколькихъ паразитовъ

жизни. Истина эта была всегда истина, какъ $2 \times 2 = 4$, но я не признавалъ ее, потому что, признавъ $2 \times 2 = 4$, я уже долженъ былъ признать то, что я нехорошъ. А чувствовать себя хорошимъ для меня было важнѣе и обязательнѣе, чѣмъ $2 \times 2 = 4$. Я полюбилъ хорошихъ людей, возненавидѣлъ себя, и я призналъ истину. Теперь мнѣ все ясно стало.

Что, еслибы палачъ, проводящій жизнь въ пыткахъ и отсѣченіи головъ, или мертвый пьяница, или сумасшедшій, засѣвшій на всю жизнь въ темную комнату, огадившій эту свою комнату и воображающій, что онъ погибнетъ, если выйдетъ изъ нея, — что, еслибы онъ спросилъ себя: что такое жизнь? — Очевидно, онъ не могъ бы получить на вопросъ: что такое жизнь? — другого отвѣта, какъ тотъ, что жизнь есть величайшее зло, и отвѣтъ сумасшедшаго былъ бы совершенно правиленъ, но для него только. Что, какъ я такой же сумасшедшій? Что, какъ мы всѣ, богатые, досужіе люди, такіе же сумасшедшіе?...

И я понялъ, что мы дѣйствительно такіе сумасшедшіе. Я то ужъ навѣрное былъ такой сумасшедшій. И въ самомъ дѣлѣ, птица существуетъ такъ, что она должна летать, собирать пищу, строить гнѣздо, и когда я вижу, что птица дѣлаетъ это, я радуюсь ея радостью. Коза, заяцъ, волкъ существуютъ такъ, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они дѣлаютъ это, у меня есть твердое сознаніе, что они счастливы и жизнь ихъ разумна. Что же долженъ дѣлать человѣкъ? — Онъ долженъ точно такъ же добывать жизнь, какъ и животныя, но съ тою только разницею, что онъ погибнетъ, добывая ее одинъ, — ему надо добывать ее не для себя, а для всѣхъ. И когда онъ дѣлаетъ это, у меня есть твердое сознаніе, что онъ

счастливы и жизнь его разумна. Что же я дѣлалъ во всю мою тридцатилѣтнюю сознательную жизнь? — Я не только не добывалъ жизни для всѣхъ, а и для себя не добывалъ ее. Я жилъ паразитомъ и, спросивъ себя, зачѣмъ я живу, — получилъ отвѣтъ: ни зачѣмъ. Если смыслъ человѣческой жизни въ томъ, чтобы добывать ее, то какъ же я, тридцать лѣтъ занимавшійся тѣмъ, чтобы не добывать жизнь, а губить ее въ себѣ и другихъ, могъ получить другой отвѣтъ, какъ тотъ, что жизнь моя есть бессмыслица и зло?... Она и была бессмыслица и зло.

Жизнь міра совершается по чьей-то волѣ, — кто-то этою жизнью всего міра и нашими жизнями дѣлаетъ свое дѣло. Чтобы имѣть надежду понять смыслъ этой воли, надо прежде всего исполнять ее, дѣлать то, чего отъ насъ хотятъ. А если я не буду дѣлать того, чего хотятъ отъ меня, то и не пойму никогда и того, чего хотятъ отъ меня, а ужъ тѣмъ менѣе — чего хотятъ отъ всѣхъ насъ и отъ всего міра.

Если голаго, голоднаго нищаго взяли съ перекрестка, привели въ крытое мѣсто прекраснаго заведенія, накормили, напоили и заставили двигать вверхъ и внизъ какую-то палку, то очевидно, что прежде, чѣмъ разбирать, зачѣмъ его взяли, зачѣмъ двигать палкой, разумно ли устройство всего заведенія, — нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если онъ будетъ двигать палкой, тогда онъ пойметъ, что палка эта движетъ насосъ, что насосъ накачиваетъ воду, что вода идетъ по грядкамъ; тогда его выведутъ изъ крытаго колодца и поставятъ на другое дѣло, и онъ будетъ собирать плоды и войдетъ въ радость господина своего, и, переходя отъ низшаго дѣла къ высшему, все дальше и дальше понимая устройство всего заведенія

и участвуя въ немъ, никогда и не подумаетъ спрашивать, зачѣмъ онъ здѣсь, и ужъ никакъ не станетъ упрекать хозяина.

Такъ и не упрекають хозяина тѣ, которые дѣлають его волю, люди простые, рабочіе, неученые, — тѣ, которыхъ мы считали скотами; а мы, вотъ, мудрецы, ѣсть ѣдимъ все хозяйское, а дѣлать не дѣлаемъ того, чего отъ насъ хочетъ хозяинъ, и вѣсто того, чтобы дѣлать, сѣли въ кружокъ и разсуждаемъ: „зачѣмъ это двигать палкой? Вѣдь это глупо“. Вотъ и додумались. Додумались до того, что хозяинъ глупъ или его нѣтъ, а мы умны, только чувствуемъ, что нигуда не годимся и надо намъ какъ-нибудь самимъ отъ себя избавиться.

XII.

Сознаніе ошибки разумнаго знанія помогло мнѣ освободиться отъ соблазна празднаго умствованія. Убѣжденіе въ томъ, что знаніе истины можно найти только жизнью, побудило меня усомниться въ правильности моей жизни; но спасло меня только то, что я успѣлъ вырваться изъ своей исключительности и увидать жизнь настоящую простого и рабочаго народа и понять, что это только есть настоящая жизнь. Я понялъ, что если хочу понять жизнь и смыслъ ея, мнѣ надо жить не жизнью паразита, а настоящею жизнью, и, принявъ тотъ смыслъ, который придаетъ ей настоящее человѣчество, слившись съ этою жизнью провѣрить его.

Въ это же время со мною случилось слѣдующее. Во все

продолженіе этого года, когда я почти всякую минуту спрашивалъ себя: не кончить ли петель или пульей, — во все это время, рядомъ съ тѣми ходами мыслей и наблюденій, о которыхъ я говорилъ, сердце мое томилось мучительнымъ чувствомъ. Чувство это я не могу назвать иначе, какъ исканіемъ бога.

Я говорю, что это исканіе бога было не разсужденіе, но чувство, потому что это исканіе вытекало не изъ моего хода мыслей, — оно было даже прямо противоположно имъ, — но оно вытекало изъ сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь.

Не смотря на то, что я вполне былъ убѣжденъ въ невозможности доказательства бытія божія: Кантъ доказалъ мнѣ, и я вполне понималъ его, что доказать этого нельзя, — я все-таки искалъ бога, надѣялся на то, что я найду его, и обращался по старой привычкѣ съ мольбой къ тому, чего я искалъ и не находилъ. То я повторялъ въ умѣ доводы Канта и Шопенгауера о невозможности доказательства бытія божія, то я начиналъ провѣрять эти доводы и опровергать ихъ. Причина, говорилъ я себѣ, не есть такая же категорія мышленія, какъ пространство и время. Если я есмь, то есть на то причина и причина причинъ. И эта причина всего есть то, что называютъ богомъ. И я останавливался на этой мысли и старался всѣмъ существомъ сознать присутствіе этой причины. И какъ только я сознавалъ, что есть сила, во власти которой я нахожусь, такъ тотчасъ же я чувствовалъ возможность жизни. Но я спрашивалъ себя: „Что же такое эта причина, эта сила? Какъ мнѣ думать о ней, какъ мнѣ относиться къ тому, что я называю богомъ?“ — И только знакомые мнѣ отвѣты при-

ходили мнѣ въ голову: „Онъ — творецъ, промыслитель“ Отвѣты эти не удовлетворяли меня, и я чувствовалъ, что пропадетъ во мнѣ то, что мнѣ нужно для жизни. Я приходилъ въ ужасъ и начиналъ молиться тому, котораго я искалъ, о томъ, чтобъ онъ помогъ мнѣ. И чѣмъ больше я молился тѣмъ очевиднѣе мнѣ было, что онъ не слышитъ меня, нѣтъ никого такого, къ которому бы можно было обращаться. И съ отчаяніемъ въ сердцѣ о томъ, что нѣтъ и нѣтъ бога, я говорилъ: „Господи, помилуй, спаси меня! Господи, научи меня, богъ мой!“ Но никто не миловалъ меня, и я чувствовалъ, что жизнь моя останавливается.

Но опять и опять съ разныхъ другихъ сторонъ я приходилъ къ тому же признанію того, что не могъ же я безъ всякаго повода, причины и смысла явиться на свѣтъ, что не могу я быть такимъ выпавшимъ изъ гнѣзда птенцомъ, какимъ я себя чувствовалъ. Пускай я, выпавшій птенецъ, лежу на спинѣ, пишу въ высокой травѣ, но я пишу оттого, что знаю, что меня въ себѣ выносила мать, высиживала, грѣла, кормила, любила. Гдѣ она, эта мать? Если забросила меня, то кто же забросилъ? Не могу я скрыть отъ себя, что любя родилъ меня кто-то. Кто же этотъ кто-то? — Опять богъ.

Онъ знаетъ и видитъ мои исканія, отчаяніе, борьбу. „Онъ есть“, говорилъ я себѣ. И стоило мнѣ на мгновеніе признать это, какъ тотчасъ же жизнь поднималась во мнѣ и я чувствовалъ и возможность и радость бытія. Но опять отъ признанія существованія бога я переходилъ къ отыскиванію отношенія къ нему, и опять мнѣ представлялся тотъ богъ, нашъ творецъ въ трехъ лицахъ, приславшій сына — искупителя. И опять этотъ отдѣльный отъ міра, отъ меня богъ, какъ льдина, таялъ, таялъ на моихъ гла-

захъ, и опять ничего не оставалось, и опять иссыхалъ источникъ жизни, я приходилъ въ отчаяніе и чувствовалъ, что мнѣ нечего сдѣлать другого, какъ убить себя. И, что было хуже всего, я чувствовалъ, что и этого я не могу сдѣлать.

Не два, не три раза, а десятки, сотни разъ приходилъ я въ эти положенія то радости и оживленія, то опять отчаянія и сознанія невозможности жизни.

Помню, это было ранней весной, я одинъ былъ въ лѣсу, прислушиваясь къ звукамъ лѣса. Я прислушивался и думалъ все объ одномъ, какъ я постоянно думалъ все объ одномъ и томъ же эти послѣдніе три года. Я опять искалъ бога.

„Хорошо, нѣтъ никакого бога, — говорилъ я себѣ, — нѣтъ такого, который бы былъ не мое представленіе, но дѣйствительность, такая же, какъ вся моя жизнь, — нѣтъ такого. И ничто, никакія чудеса не могутъ доказать такого, потому что чудеса будутъ мое представленіе, да еще неразумное.

„Но понятіе мое о богѣ, о томъ, котораго я ищу? — спросилъ я себя. — Понятіе-то откуда взялось?“ И опять при этой мысли во мнѣ поднялись радостныя волны жизни. Все вокругъ меня ожило, получило смыслъ. Но радость моя продолжалась не долго. Умъ продолжалъ свою работу. „Понятіе бога — не богъ, — сказалъ я себѣ. — Понятіе есть то, что происходитъ во мнѣ, понятіе о богѣ есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить въ себѣ. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, безъ чего бы не могла быть жизнь“. И опять все стало умирать вокругъ меня и во мнѣ и мнѣ опять захотѣлось убить себя.

Но тутъ я оглянулся на самого себя, на то, что про-

исходить во мнѣ, и я вспомнилъ себѣ эти сотни разъ происходившія во мнѣ умирапія и оживленія. Я вспомнилъ, что я жилъ только тогда, когда вѣрилъ въ бога. Какъ было прежде, такъ и теперь: стоитъ мнѣ знать о богѣ, и я живу; стоитъ забывать не вѣрить въ него, и я умираю. Что же такое эти оживленія и умирапія? Вѣдь я не вижу, когда теряю вѣру въ существованіе бога, вѣдь я бы ужъ давно убилъ себя, если бъ у меня не было смутной надежды пайти его. Вѣдь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ишу его. Такъ чего же я ищу еще? — вскрикнулъ во мнѣ голосъ. Такъ вотъ онъ. Онъ — то, безъ чего нельзя жить. Знать бога и жить — одно и то же. Богъ естъ жизнь.

Живи, отыскивая бога, и тогда не будетъ жизни безъ бога. И сильнѣе чѣмъ когда-нибудь все освѣтилось во мнѣ и вокругъ меня, и свѣтъ этотъ уже не повидаль меня.

И я спасся отъ самоубійства. Когда и какъ совершился во мнѣ этотъ переворотъ, я не могъ бы сказать. Какъ незамѣтно постепенно уничтожилась во мнѣ сила жизни и я пришелъ къ невозможности жить, къ остановкѣ жизни, къ потребности самоубійства, такъ же постепенно незамѣтно возвратилась ко мнѣ эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мнѣ, была не новая, а самая старая, — та самая, которая влекла меня на первыхъ порахъ моей жизни. Я вернулся во всемъ къ самому прежнему; дѣтскому и юношескому. Я вернулся къ вѣрѣ въ ту волю, которая произвела меня и чего-то хочетъ отъ меня; я вернулся къ тому, что главная и единственная цѣль моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнѣе съ этой волей; я вернулся къ тому, что выраженіе этой воли я могу найти въ томъ, что въ скрывающейся

отъ меня дали выработало для руководства своего все человечество, т. е. я вернулся къ вѣрѣ въ бога, въ нравственное совершенствованіе и въ преданіе, передававшее смыслъ жизни. Только та и была разни́ца, что тогда все это было принято безсознательно, теперь же я зналъ, что безъ этого я не могу жить.

Со мной случилось какъ будто вотъ что: я не помню, когда меня посадили въ лодку, оттолкнули отъ какого-то неизвѣстнаго мнѣ берега, указали направленіе къ другому берегу, дали въ неопытныя руки весла и оставили одного. Я работалъ, какъ умѣлъ, веслами и плылъ; но чѣмъ дальше я выплывалъ на середину, тѣмъ быстрѣе становилось теченіе, относившее меня прочь отъ цѣли, и тѣмъ чаще и чаще мнѣ встрѣчались пловцы, такіе же, какъ я, уносимые теченіемъ. Были одинокіе гребцы, продолжавшіе грести, были пловцы, побросавшіе весла, были большія лодки, огромные корабли, полные народомъ; одни бились съ теченіемъ, другіе — отдавались ему. И чѣмъ дальше я плылъ, тѣмъ больше, глядя на направленіе внизъ, по потоку, всѣхъ плывущихъ, я забывалъ данное мнѣ направленіе. На самой срединѣ потока, въ тѣснотѣ лодокъ и кораблей, несущихся внизъ, я уже совсѣмъ потерялъ направленіе и бросилъ весла. Со всѣхъ сторонъ съ весельемъ и ликованиемъ вокругъ меня неслись на парусахъ и на веслахъ пловцы внизъ по теченію, увѣряя меня и другъ друга, что и не можетъ быть другого направленія. И я повѣрилъ имъ и поплылъ съ ними. И меня далеко отнесло, такъ далеко, что я слышалъ шумъ пороговъ, въ которыхъ я долженъ былъ разбиться, и увидалъ лодки, разбившіяся въ нихъ. И я опомнился. Долго я не могъ понять, что со мной случилось. Я видѣлъ передъ собой одну погибель, къ которой

я бѣжалъ и которой боялся, нигдѣ не видѣлъ спасенія и не зналъ, что мнѣ дѣлать; но, оглянувшись назадъ, я увидѣлъ безчисленныя лодки, которыя, не переставая, упорно перебивали теченіе, вспомнилъ о берегѣ, о веслахъ и направленіи и сталъ выгребаться назадъ вверхъ по теченію и къ берегу.

Берегъ это былъ Богъ, направленіе это было преданіе, весла эти была данная мнѣ свобода выгребтись къ берегу, соединиться съ Богомъ.

XIII.

Итакъ, сила жизни возобновилась во мнѣ, и я опять началъ жить.

Я отрекся отъ жизни нашего круга, признавъ, что это не есть жизнь, а только подобіе жизни, что условія избытка, въ которыхъ мы живемъ, лишаютъ насъ возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я долженъ понять жизнь не исключеній, не насъ, паразитовъ жизни, а жизнь простого трудового народа, — того, который дѣлаетъ жизнь и тотъ смыслъ, который онъ придаетъ ей. Простой трудовой народъ вокругъ меня былъ русскій народъ, и я обратился къ нему и къ тому смыслу, который онъ придаетъ жизни. Смыслъ этотъ, если его можно выразить, былъ слѣдующій. Всякій человѣкъ произошелъ на этотъ свѣтъ по волѣ бога. И богъ такъ сотворилъ человѣка, что всякій человѣкъ можетъ погубить свою душу или спасти ее. Задача человѣка въ жизни — спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по божьи,

а чтобы жить по божьи, нужно отрекаться отъ всёхъ утѣхъ жизни, трудиться, смиряться, терпѣть и быть милостивымъ. Смыслъ этотъ народъ черпаетъ изъ всего вѣроученія, переданнаго и передаваемого ему пастырями и преданіемъ, живущимъ въ народѣ. Смыслъ этотъ былъ мнѣ ясенъ и близокъ моему сердцу. Но съ этимъ смысломъ народной вѣры неразрывно связано у нашего нераскольничьяго люда, среди котораго я жилъ, много такого, что отталкивало меня и представлялось необъяснимымъ: таинства, церковныя службы, посты, поклоненія мощамъ и иконамъ. Отдѣлить одно отъ другого народъ не можетъ, не могъ и я. Какъ ни странно мнѣ было многое изъ того, что входило въ вѣру народа, я принялъ все: ходилъ къ службамъ, становился утромъ и вечеромъ на молитву, постился, говѣлъ и первое время разумъ мой не противился ничему. То самое, что прежде казалось мнѣ невозможнымъ, теперь не возбуждало во мнѣ противленія.

Отношеніе мое къ вѣрѣ теперь и тогда было совершенно различное. Прежде сама жизнь казалась мнѣ исполненной, смысла и вѣра представлялась произвольнымъ утвержденіемъ какихъ-то совершенно ненужныхъ мнѣ неразумныхъ и не связанныхъ съ жизнью положеній. Я спросилъ себя тогда, какой смыслъ имѣютъ эти положенія, и, убѣдившись, что они не имѣютъ его, откинулъ ихъ. Теперь же напротивъ, я твердо зналъ, что жизнь моя не имѣетъ и не можетъ имѣть никакого смысла, и положенія вѣры не только не представлялись мнѣ ненужными, но я несомнѣннымъ опытомъ былъ приведенъ къ убѣжденію, что только эти положенія вѣры даютъ смыслъ жизни. Прежде я смотрѣлъ на нихъ, какъ на совершенно ненужную тарабарскую грамоту, теперь же, если я не понималъ ихъ, то зналъ, что

въ нихъ смыслъ, и говорилъ себѣ, что надо учиться понимать ихъ. Я дѣлалъ слѣдующее разсужденіе. Я говорилъ себѣ: знаніе вѣры вытекаетъ, какъ и все человѣчество съ его разумомъ, изъ таинственнаго начала. Это начало есть богъ, начало и тѣла человѣческаго и его разума. Какъ преемственно отъ бога дошло до меня мое тѣло, такъ дошли до меня мой разумъ и мое постигновеніе жизни, и потому всѣ тѣ ступени развитія этого постигновенія жизни не могутъ быть ложны. Все то, во что истинно вѣрятъ люди, должно быть истина; она можетъ быть различно выражаема, но ложью она не можетъ быть, и потому, если она мнѣ представляется ложью, то это значить только то, что я не понимаю ея. Кромѣ того я говорилъ себѣ: сущность всякой вѣры состоитъ въ томъ, что она придаетъ жизни такой смыслъ, который не уничтожается смертью. Естественно, что для того, чтобы вѣра могла отвѣчать на вопросъ умирающаго въ роскоши царя, замученнаго работами старика раба, несмышленного ребенка, мудраго старца, полумной старушки, молодой счастливой женщины, мятущагося страстями юноши, всѣхъ людей при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ жизни и образованія, — естественно, если есть одинъ отвѣтъ, отвѣчающій на вѣчный одинъ вопросъ жизни: „зачѣмъ я живу. что выйдетъ изъ моей жизни“, — то отвѣтъ этотъ, хотя единый по существу своему, долженъ быть безконечно разнообразенъ въ своихъ проявленіяхъ, и чѣмъ единѣе, чѣмъ истиннѣе, глубже этотъ отвѣтъ, тѣмъ естественно страннѣе и уродливѣе онъ долженъ являться въ своихъ попыткахъ выраженія сообразно образованію и положенію каждаго. Но разсужденія эти, оправдывавшія для меня странность обрядовой стороны вѣры, были все-таки недостаточны для того, чтобы я самъ въ

томъ единственномъ для меня дѣлѣ жизни, въ вѣрѣ, позволилъ бы себѣ дѣлать поступки, въ которыхъ бы я сомнѣвался. Я желалъ всѣми силами души быть въ состояніи слиться съ народомъ, исполняя обрядовую сторону его вѣры, но я не могъ этого сдѣлать. Я чувствовалъ, что я лгалъ бы передъ собой, насмѣялся бы надъ тѣмъ, что для меня свято, еслибъ я дѣлалъ это. Но тутъ мнѣ на помощь явились новыя наши богословскія русскія сочиненія.

По объясненію этихъ богослововъ основной догматъ вѣры есть непогрѣшимая церковь. Изъ признанія этого догмата вытекаетъ, какъ необходимое послѣдствіе, истинность всего, исповѣдуемаго церковью. Церковь, какъ собраніе вѣрующихъ, соединенныхъ любовью и потому имѣющихъ истинное знаніе, сдѣлалась основой моей вѣры. Я говорилъ себѣ, что божеская истина не можетъ быть доступна одному человѣку, — она отерывается только всей совокупности людей, соединенныхъ любовью. Для того, чтобы постигнуть истину, надо не раздѣляться; а для того, чтобы не раздѣляться, надо любить и примиряться съ тѣмъ, съ чѣмъ не согласенъ. Истина откроется любви, и потому, если ты не подчиняешься обрядамъ церкви, нарушаешь любовь, ты лишаешься возможности познать истину. Я не видалъ тогда софизма, находящагося въ этомъ разсужденіи. Я не видалъ тогда того, что единое въ любви можетъ дать величайшую любовь, но никакъ не божественную истину, выраженную опредѣленными словами въ Никейскомъ Символѣ, не видалъ и того, что любовь никакъ не можетъ сдѣлать извѣстное выраженіе истины обязательнымъ для единенія. Я не видалъ тогда ошибки этого разсужденіе и благодаря ему получилъ возможность принять и исполнять всѣ обряды православной церкви, не понимая боль-

шую часть ихъ. Я старался тогда всѣми силами души избѣгать всякихъ разсужденій, противорѣчій и пытался объяснить, сколько возможно разумно, тѣ положенія церковныя, съ которыми я сталкивался.

Исполняя обряды церкви, я смирялъ свой разумъ и подчинялъ себя тому преданію, которое имѣло все человѣчество. Я соединялся съ предками моими, съ любимыми мною — отцомъ, матерью, дѣдами, бабками. Они и всѣ прежніе вѣрили и жили и меня произвели. Я соединялся и со всѣми миллионами уважаемыхъ мною людей изъ народа. Кромѣ того самыя дѣйствія эти не имѣли въ себѣ ничего дурного (дурнымъ я считалъ потворство похотямъ). Вставая рано къ церковной службѣ, я зналъ, что дѣлалъ хорошо уже только потому, что для смиренія своей гордости ума, для сближенія съ моими предками и современниками, для исканія смысла жизни, я жертвовалъ своимъ тѣлеснымъ спокойствіемъ. То же было при говѣніи, при ежедневномъ чтеніи молитвъ съ поклонами, то же при соблюденіи всѣхъ постовъ. Какъ ни ничтожны были эти жертвы, эти жертвы были во имя хорошаго. Я говѣлъ, постился, соблюдалъ временныя молитвы дома и въ церкви. Въ слушаніи службы церковной я вникалъ въ каждое слово и придавалъ имъ смыслъ, когда могъ. Въ обѣднѣ самыя важныя слова для меня были: „возлюбимъ другъ друга до единомысліемъ“. Дальнѣйшія слова: „и едино исповѣдаемъ отца и сына и святаго духа“ я пропускалъ, потому что не могъ понять ихъ.

XIV.

Мнѣ такъ необходимо было тогда вѣрить, чтобы жить, что я бессознательно скрывалъ отъ себя противорѣчія и неясности вѣроученія. Но это осмысливаніе обрядовъ имѣло предѣлъ. Если эктенія все яснѣе и яснѣе становилась для меня въ главныхъ своихъ словахъ, если я объяснялъ себѣ кое какъ слова: „и владычицу нашу пресвятую богородицу и всѣхъ святыхъ помянувши“, „и сами себе, и другъ друга, и весь животъ нашъ Христу Богу предадимъ“, — если я объяснялъ частое повтореніе молитвъ о царѣ и его родныхъ тѣмъ, что они болѣе подлежатъ искушенію, чѣмъ другіе, и потому болѣе требуютъ молитвъ, то молитвы о покореніи подъ ноги враговъ и супостата, если я ихъ объяснялъ тѣмъ, что врагъ есть зло, — молитвы эти и другія, какъ херувимская и все таинство проскомидіи или „взбранной воеводѣ“ и. т. п., почти двѣ трети всѣхъ службъ — или вовсе не имѣли объясненій, или я чувствовалъ, что я, подводя имъ объясненія, лгу и тѣмъ совсѣмъ разрушаю свое отношеніе къ богу, теряя совершенно всякую возможность вѣры.

То же я испытывалъ при празднованіи главныхъ праздниковъ. Помнить день субботній, т. е. посвятить одинъ день на обращеніе къ богу, мнѣ было понятно. Но главный праздникъ былъ воспоминаніе о событіи воскресенія, дѣйствительность котораго я не могъ себѣ представить и познать. И этимъ именемъ воскресенія назывался еженедѣльно

празднуемый день. И въ эти дни совершалось таинство эвхаристіи, которое было мнѣ совершенно непонятно. Остальные всѣ двѣнадцать праздниковъ, кромѣ Рождества, были воспоминанія о чудесахъ, о томъ, о чемъ я старался не думать, чтобы не отрицать: Вознесеніе, Пятидесятница, Богоявленіе, Покровъ и т. д. При празднованіи этихъ праздниковъ, чувствуя, что приписывается важность тому самому, что для меня составляетъ самую обратную важность, я или придумывалъ успокоивавшія меня объясненія или закрывалъ глаза, чтобы не видѣть того, что соблазняетъ меня.

Сильнѣе всего это происходило со мною при участіи въ самыхъ обычныхъ таинствахъ, считавшихся самыми важными: крещенія и причастія. Тутъ не только я сталкивался съ не то что непонятными, но вполне понятными дѣйствіями: дѣйствія эти казались мнѣ соблазнительными, и я былъ поставляемъ въ дилемму — или лгать или отбросить.

Никогда не забуду мучительнаго чувства, испытаннаго мною въ тотъ день, когда я причащался въ первый разъ послѣ многихъ лѣтъ. Службы, исповѣдь, правила — все это было мнѣ понятно и производило во мнѣ радостное сознаніе того, что смыслъ жизни открывается мнѣ. Самое причастіе я объяснялъ себѣ какъ дѣйствіе, совершаемое въ воспоминаніе Христа и означающее очищеніе отъ грѣха и полное воспріятіе ученія Христа. Если это объясненіе и было искусственно, то я не замѣчалъ его искусственности. Мнѣ такъ радостно было, унижаясь и смиряясь передъ духовникомъ, простымъ, робкимъ священникомъ, выворачивать всю грязь своей души, каясь въ своихъ порокахъ, такъ радостно было сливаться мыслями со смиреніемъ от-

цовъ, писавшихъ молитвы правилъ, такъ радостно было единеніе со всѣми вѣровавшими и вѣрующими, что я и не чувствовалъ искусственности моего объясненія. Но когда я подошелъ къ царскимъ дверямъ и священникъ заставилъ меня повторять то, что я вѣрю, что то, что я буду глотать, есть истинное тѣло и кровь, меня рѣзнуло по сердцу; это мало, что фальшивая нота, это — жестокое требованіе кого-то, который очевидно никогда и не зналъ, что такое вѣра.

Но я теперь позволю себѣ говорить, что это было жестокое требованіе; тогда же я и не подумалъ этого, — мнѣ только было невыразимо больно. Я ужъ не былъ въ томъ положеніи, въ какомъ я былъ въ молодости, думая, что въ жизни все ясно; я пришелъ вѣдь къ вѣрѣ потому, что помимо вѣры я ничего, навѣрное ничего не нашелъ кромѣ гибели, поэтому откидывать эту вѣру нельзя было, и я покорился. И я нашелъ въ своей душѣ чувство, которое помогло мнѣ перенести это. Это было чувство самоуваженія и смиренія. Я смирился, проглотилъ эту кровь и тѣло безъ кощунственныхъ чувствъ, съ желаніемъ повѣрить, но ударъ былъ уже нанесенъ. И, зная впередъ, что ожидаетъ меня, я уже не могъ идти въ другой разъ.

Я продолжалъ точно такъ же исполнять обряды церкви и все еще вѣрилъ, что въ томъ вѣроученіи, которому я слѣдовалъ, была истина, и со мною происходило то, что теперь мнѣ ясно, но тогда казалось страннымъ.

Слушалъ я разговоръ безграмотнаго мужика, странника, о богѣ, о вѣрѣ, о жизни, о спасеніи, и знаніе вѣры открывалось мнѣ. Сближался я съ народомъ, слушая сужденія его о жизни, о вѣрѣ, и я все больше и больше понималъ истину. То же было со мною при чтеніи Четьи-Минеи

и Прологовъ; это стало любимымъ моимъ чтеніемъ. Исключая чудеса, смотря на нихъ какъ на фавулу, выражающую мысль, чтеніе это открывало мнѣ смыслъ жизни. Тамъ были житія Макарія Великаго, Іоасафа царевича (исторія Будды), тамъ были слова Іоанна Златоуста, слова о путникѣ въ колодезь, о монахѣ, нашедшемъ золото, о Петрѣ мытарѣ; тамъ — исторіи мучениковъ, всѣхъ заявлявшихъ одно, что смерть не исключаетъ жизни; тамъ — исторіи о спасшихся безграмотныхъ, глухихъ и не знающихъ ничего объ ученіяхъ церкви.

Но стоило мнѣ сойтись съ учеными вѣрующими или взять ихъ книги, какое-то сомнѣніе въ себѣ, недовольство, озлобленіе спора возникали во мнѣ, и я чувствовалъ, что я, чѣмъ больше вникаю въ ихъ рѣчи, тѣмъ больше отдаляюсь отъ истины и иду къ пропасти.

XV.

Сколько разъ я я завидовалъ мужикамъ за ихъ безграмотность и неученость. Изъ тѣхъ положеній вѣры, изъ которыхъ для меня выходили явные безсмыслицы, для нихъ не выходило ничего ложнаго; они могли принимать ихъ и могли вѣрить въ истину, — въ ту истину, въ которую и я вѣрилъ. Только для меня несчастнаго ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена съ ложью и что я не могу принять ее въ такомъ видѣ.

Такъ я жилъ года три и первое время, когда я, какъ оглашенный, только понемногу пріобщался къ истинѣ, только руководимый чутьемъ шелъ туда, гдѣ мнѣ вазалось

свѣтлѣ, эти столкновѣнія менѣе поражали меня. Когда я не понималъ чего-нибудь, я говорилъ себѣ: „я виноватъ, я дурентъ“. Но чѣмъ больше я сталъ проникаться тѣми истинами, которыми я учился, чѣмъ болѣе онѣ становились основой жизни, тѣмъ тяжелѣе, разительнѣе стали эти столкновѣнія и тѣмъ рѣзче становилась та черта, которая есть между тѣмъ, чего я не понимаю, потому что не умѣю понимать, и тѣмъ, чего нельзя понять иначе, какъ не солгавъ передъ самимъ собой.

Не смотря на эти сомнѣнія и страданія я еще держался православія. Но явились вопросы жизни, которыя надо было разрѣшить, и тутъ разрѣшеніе этихъ вопросовъ церковью — противно самымъ основамъ той вѣры, которою я жилъ — окончательно заставило меня отречься отъ возможности общенія съ православіемъ. Вопросы эти были, во-первыхъ, отношеніе церкви православной къ другимъ церквамъ — къ католичеству и къ такъ-называемымъ раскольникамъ. Въ это время вслѣдствіе моего интереса къ вѣрѣ я сближался съ вѣрующими разныхъ исповѣданій: католиками, протестантами, старообрядцами, молоканами и др. И много я встрѣчалъ изъ нихъ людей нравственно высокихъ и истинно вѣрующихъ. Я желалъ быть братомъ этихъ людей. И что же? — То ученіе, которое общало мнѣ соединить всѣхъ единою вѣрою и любовью, это самое ученіе въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей сказало мнѣ, что это все люди, находящіеся во лжи, что то, что даетъ имъ силу жизни, есть искушеніе дьявола, что мы одни въ обладаніи единой возможной истины. И я увидалъ, что всѣхъ не исповѣдающихъ одинаково съ ними вѣру православные считаютъ еретиками точь-въ-точь такъ же, какъ католики и другіе считаютъ православіе еретиче-

ствомъ; я увидалъ, что ко всѣмъ не исповѣдающимъ внѣшними символами и словами свою вѣру такъ же, какъ православіе, — православіе, хотя и пытается скрыть это, относится враждебно, какъ оно и должно быть, во-первыхъ, потому, что утвержденіе о томъ, что ты во лжи, а я въ истинѣ, есть самое жестокое слово, которое можетъ сказать одинъ человѣкъ другому, и, во-вторыхъ, потому, что человѣкъ, любящій дѣтей и братьевъ своихъ, не можетъ не относиться враждебно къ людямъ, желающимъ обратить его дѣтей и братьевъ въ вѣру ложную. И враждебность эта усиливается по мѣрѣ большаго знанія вѣроученія. И мнѣ, полагавшему истину въ единеніи любви, невольно бросилось въ глаза то, что самое вѣроученіе разрушаетъ то, что оно должно произвести.

Соблазнъ этотъ до такой степени очевиденъ, до такой степени намъ, образованнымъ людямъ, живавшимъ въ странахъ, гдѣ исповѣдываются разныя вѣры, и выдавшимъ то презрительное, самоувѣренное, непоколебимое отрицаніе, съ которымъ относится католикъ къ православному и протестанту, православный къ католику и протестанту и протестантъ къ обоимъ, и такое же отношеніе старообрядца-нашковца, шекера и всѣхъ вѣръ, что самая очевидность соблазна въ первое время озадачиваетъ. Говоришь себѣ: да не можетъ же быть, чтобъ это было такъ просто и все-таки люди не видали бы того, что если два утвержденія другъ друга отрицаютъ, то ни въ томъ, ни въ другомъ нѣтъ той единой истины, какою должна быть вѣра. Что-нибудь тутъ есть. Есть какое-нибудь объясненіе, — я и думалъ, что есть, и отыскивалъ это объясненіе, и читалъ все, что могъ, по этому предмету, и совѣтовался со всѣми, съ кѣмъ могъ. И не получалъ никакого объясненія, кромя

того же самага, по которому сумскіе гусары считаютъ, что первый полкъ въ мірѣ сумскій гусарскій, а желтые уланы считаютъ, что первый полкъ въ мірѣ — это желтые уланы. Духовныя лица всѣхъ разныхъ исповѣданій, лучшіе представители изъ нихъ, ничего не сказали мнѣ, какъ только то, что они вѣрятъ, что они въ истинѣ, а тѣ въ заблужденіи, и что все, что они могутъ, это молиться о нихъ. Я ѣздилъ къ архимандритамъ, архіереямъ, старцамъ, схимникамъ и спрашивалъ, и никто никой попытки не сдѣлалъ объяснить мнѣ этотъ соблазнъ. Одинъ только изъ нихъ разъяснилъ мнѣ все, но разъяснилъ все такъ, что я ужъ больше ни у кого не спрашивалъ.

Я говорилъ о томъ, что для всякаго невѣрующаго, обращающагося къ вѣрѣ (а подлежитъ этому обращенію все наше молодое поколѣніе), этотъ вопросъ представляется первымъ: почему истина не въ лютеранствѣ, не въ католицизмѣ, а въ православіи? Его учатъ въ гимназіи, и ему нельзя не знать: какъ этого не знаетъ мужикъ, что протестантъ, католикъ такъ же точно утверждаютъ единую истинность своей вѣры. Историческія доказательства, подбираемыя каждымъ исповѣданіемъ въ свою сторону, недостаточны. Нельзя ли, — говорилъ я выше — понимать ученіе такъ, чтобы съ высоты ученія исчезали бы различія, какъ они исчезаютъ для истинно вѣрующаго? Нельзя ли идти дальше по тому пути, по которому мы идемъ съ старообрядцами? Они утверждали, что крестъ, аллилуія и хожденіе вокругъ алтаря у насъ другіе. Мы сказали: вы вѣрите въ Никейскій Символъ, въ семь таинствъ и мы вѣримъ. Давайте же держаться этого, а въ остальномъ дѣлайте, какъ хотите. Мы соединились съ ними тѣмъ, что поставили существенное въ вѣрѣ выше несущественнаго. Теперь съ

католиками нельзя ли сказать: вы вѣрите въ то-то и то-то, въ главное, а по отношенію *Filio que* и папы дѣлайте, какъ хотите. Нельзя ли того же сказать и протестантамъ, соединившись съ ними на главномъ? Собесѣдникъ мой согласился съ моею мыслью, но сказалъ мнѣ, что такіа уступки произведутъ нареканія на духовную власть въ томъ, что она отступаетъ отъ вѣры предковъ, и произведутъ расколъ, а призваніе духовной власти — блюсти во всей чистотѣ греко-россійскую православную вѣру, переданную ей отъ предковъ.

И я все понималъ. Я ищу вѣры, силы жизни, а они ищутъ наилучшаго средства исполненія передъ людьми извѣстныхъ человѣческихъ обязанностей. И, исполняя эти человѣческія дѣла, они и исполняютъ ихъ по-человѣчески. Сколько бы ни говорили они о своемъ сожалѣніи, о заблудшихъ братьяхъ, о молитвахъ о нихъ, возносимыхъ у престола всевышняго, — для исполненія человѣческихъ дѣлъ нужно насиліе, и оно всегда прилагалось, прилагается и будетъ прилагаться. Если два исповѣданія считаютъ себя въ истинѣ, а другъ друга во лжи, то, желая привлечь братьевъ къ истинѣ, они будутъ проповѣдывать свое ученіе. А если ложное ученіе проповѣдуется неопытными сынамъ церкви, находящимся въ истинѣ, то церковь эта не можетъ не сжечь книги, не удалить человѣка, соблазняющаго сыновъ ея. Что же дѣлать съ тѣмъ горящимъ огнемъ ложной, по мнѣнію православія, вѣры сектантомъ, который въ самомъ важномъ дѣлѣ жизни, въ вѣрѣ, соблазняетъ сыновъ церкви? Что же съ нимъ дѣлать, какъ не отрубить ему голову, или не запереть его? При Алексѣѣ Михайловичѣ сжигали на кострѣ, т. е. по времени прилагали тоже высшую мѣру наказанія, въ наше время прилагаютъ тоже

вышую мѣру — запирають въ одиночное заключеніе. И я обратилъ вниманіе на то, что дѣлается во имя вѣроисповѣданія, и ужаснулся, и уже почти совѣтъ отрেকся отъ православія. Второе отношеніе церкви къ жизненнымъ вопросамъ было отношеніе ея къ войнѣ и казнямъ.

Въ это время случилась война въ Россіи. И русскіе стали во имя христіанской любви убивать своихъ братьевъ. Не думать объ этомъ нельзя было. Не видѣть, что убійство есть зло, противное самымъ первымъ основамъ всякой вѣры, нельзя было. А вмѣстѣ съ тѣмъ въ церквахъ молились объ успѣхѣ нашего оружія, и учителя вѣры признавали это убійство дѣломъ, вытекающимъ изъ вѣры. И не только эти убійства на войнѣ, но во время тѣхъ смутъ, которыя послѣдовали за войной, я видѣлъ чиновъ церкви, учителей ея, монаховъ, схимниковъ, которые одобряли убійство заблудшихъ, безпомощныхъ юношей. И я обратилъ вниманіе на все то, что дѣлается людьми, исповѣдающими христіанство, и ужаснулся.

XVI.

И я пересталъ сомнѣваться, а убѣдился вполне, что въ томъ знаніи вѣры, къ которому я присоединился, не все истина. Прежде я бы сказалъ, что все вѣроученіе — ложно, но теперь нельзя было этого сказать. Весь народъ имѣлъ знаніе истины, это было несомнѣнно, потому что иначе онъ бы не жилъ. Кромѣ того, это знаніе истины уже мнѣ было доступно, я уже жилъ имъ и чувствовалъ всю его правду; но въ этомъ же знаніи была и ложь. И въ этомъ я не могъ

сомнѣваться. И все то, что прежде отталкивало меня, теперь живо представало предо мною. Хотя я и видѣлъ то, что во всемъ народѣ меньше было той примѣси оттолкнувшей меня лжи, чѣмъ въ представителяхъ церкви, — я все-таки видѣлъ, что и въ вѣрованіяхъ народа ложь примѣшана была къ истинѣ.

Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь и истина преданы тѣмъ, что называютъ церковью. И ложь и истина заключаются въ преданіи, въ такъ-называемомъ священномъ преданіи и писаніи.

И волей-неволей я приведенъ къ изученію, изслѣдованію этого писанія, — изслѣдованію, котораго я такъ боялся до сихъ поръ.

И я обратился къ изученію того самаго богословія, которое я когда-то съ такимъ презрѣніемъ откинулъ, какъ ненужное. Тогда оно казалось мнѣ рядомъ ненужныхъ бессмыслицъ, тогда со всѣхъ сторонъ окружали меня явленія жизни, казавшіяся мнѣ ясными и исполненными смысла; теперь же я бы и радъ откинуть то, что не лѣзетъ въ здоровую голову, но дѣваться некуда. На этомъ вѣроученіи зиждется или по крайней мѣрѣ неразрывно связано съ нимъ то единое знаніе смысла жизни, которое открывалось мнѣ. Какъ ни кажется оно мнѣ дико на мой старый твердый умъ, это — одна надежда спасенія. Надо осторожно, внимательно разсмотрѣть его для того, чтобы понять его, даже и не то, что понять, какъ я понимаю положенія науки. Я этого не ищу и не могу искать, зная основность знанія вѣры. Я не буду искать объясненія всего. Я знаю, что объясненіе всего должно скрываться, какъ начало всего въ безконечности. Но я хочу понять такъ, чтобы быть приведеннымъ къ неизбѣжно-необъяснимому; я хочу, чтобы

все то, что необъяснимо, было таково не потому, что требованія моего ума неправильны (они правильны, и внѣ ихъ я ничего понять не могу), но потому, что я вижу предѣлы своего ума. Я хочу понять такъ, чтобы всякое необъяснимое положеніе представлялось мнѣ какъ необходимость разума же, а не какъ обязательство повѣрить.

Что въ ученіи есть истина, это мнѣ несомнѣнно; но не сомнѣнно и то, что въ немъ есть ложь, и я долженъ найти истину и ложь и отдѣлить одно отъ другого. И вотъ я приступаю къ этому. Что я нашелъ въ этомъ ученіи ложнаго, что я нашелъ истиннаго и къ какимъ выводамъ я пришелъ, составляетъ слѣдующія части сочиненія, которое, если оно того стоитъ и нужно кому нибудь, вѣроятно будетъ когда-нибудь и гдѣ-нибудь напечатано.

1879 г.

Это было написано мною года три тому назадъ.

Теперь, пересматривая эту печатную часть, возвращаясь къ тому ходу мыслей и къ тѣмъ чувствамъ, которыя были во мнѣ, когда я переживалъ ее, я на-дняхъ увидалъ сонъ. Сонъ этотъ выразилъ для меня въ сжатомъ образѣ все то, что я пережилъ и описалъ, и потому думаю, что и для тѣхъ, которые поняли меня, описаніе этого освѣжить, уяснить и собрать въ одно все то, что такъ длинно рассказано на этихъ страницахъ. Вотъ этотъ сонъ: Вижу я, что лежу на постели. И мнѣ ни хорошо, ни дурно; я лежу на спинѣ. Но я начинаю думать о томъ, хорошо ли мнѣ лежать; и что-то мнѣ кажется неловко ногамъ, коротко ли, неровно ли, неловко что-то; я пошевеливаю ногами и виѣ-

стѣ съ тѣмъ начинаю обдумывать, какъ и на чемъ я лежу, чего мнѣ до тѣхъ поръ не приходило въ голову. И, наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетеныхъ веревочныхъ помочахъ, прикрѣпленныхъ къ кровати. Ступни мои лежатъ на одной такой помочи, голени на другой, — ногамъ неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать. И движеніемъ ногъ отталкиваю крайнюю помочу подъ ногами; мнѣ кажется, что такъ будетъ покойнѣе. Но я оттолкнулъ ее слишкомъ далеко, хочу захватить ее ногами, но съ этимъ движеніемъ выскальзываетъ изъ подъ голени и другая помоча, и ноги мои свѣшиваются. Я дѣлаю движеніе всѣмъ тѣломъ, чтобы справиться, вполне увѣренный, что я сейчасъ устроюсь; но съ этимъ движеніемъ выскальзываютъ и перемѣщаются подо мной еще и другія помочи, и я вижу, что дѣло совсемъ портится, весь низъ моего тѣла спускается и виситъ, ноги не достаютъ до земли. Я держусь только верхомъ спины, и мнѣ становится не только неловко, но отчего-то жутко. Тутъ только я спрашиваю себя то, чего прежде мнѣ и не приходило въ голову. Я спрашиваю себя: гдѣ я и на чемъ я лежу? И начинаю оглядываться, и прежде всего гляжу внизъ, туда, куда свисло мое тѣло и куда я чувствую, что долженъ упасть сейчасъ. Я гляжу внизъ и не вѣрю своимъ глазамъ. Не то, что я на высотѣ, подобной высотѣ высочайшей башни или горы, а я на такой высотѣ, какую я не могъ никогда вообразить себѣ.

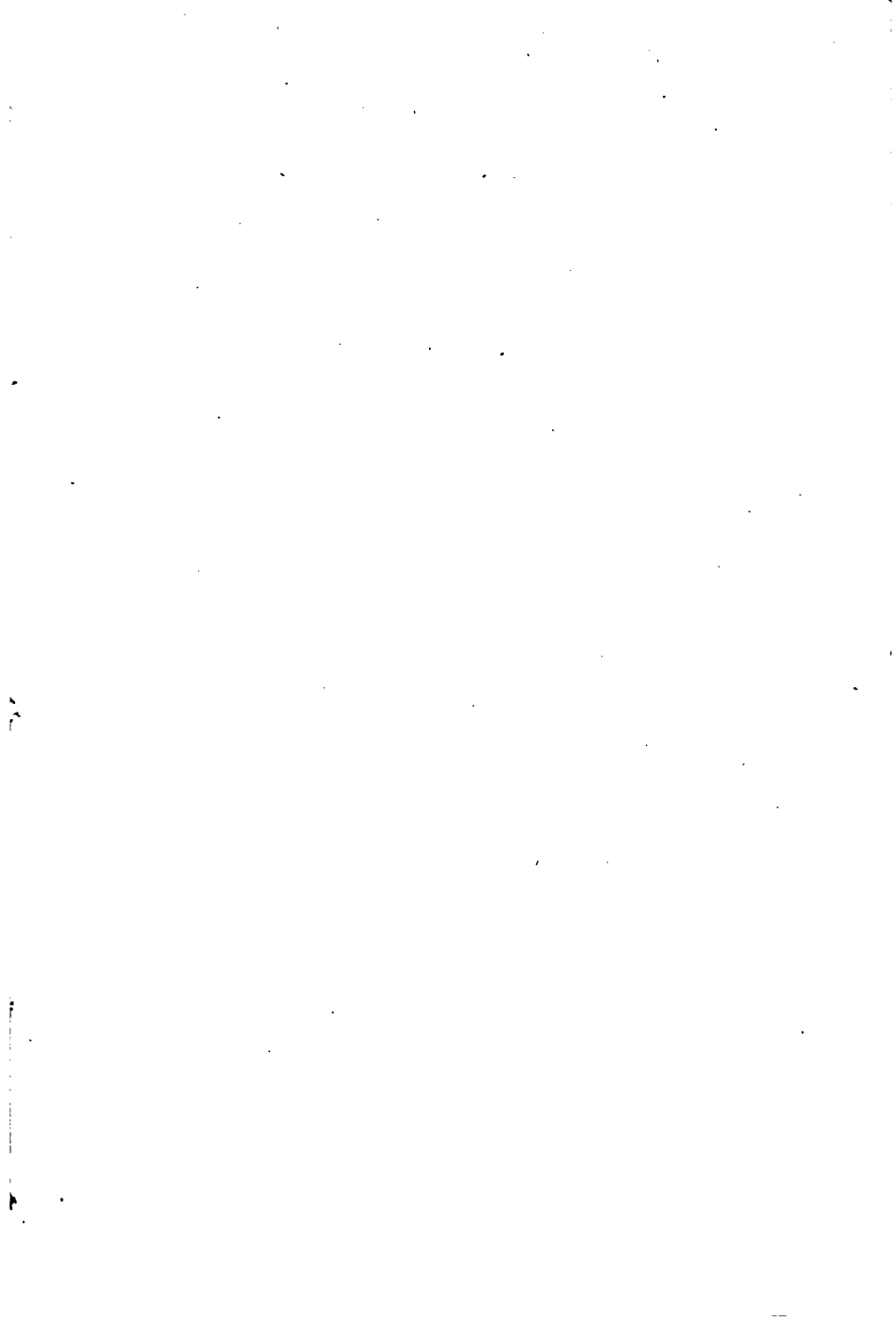
Я не могу даже разобрать — вижу ли я что-нибудь тамъ внизу, въ той бездонной пропасти, надъ которой я вишу и куда меня тянетъ. Сердце сжимается, и я испытываю ужасъ. Смотрѣть туда ужасно. Если я буду смотрѣть туда, то чувствую, что я сейчасъ соскользну съ послѣдней

помочи и погибну. Я не смотрю. Но не смотрѣть еще хуже, потому что я думаю о томъ, что будетъ со мной сейчасъ, когда я сорвусь съ послѣдней помочи. И я чувствую, что отъ ужаса я теряю послѣднюю державу и медленно скольжу по спинѣ ниже и ниже. Еще мгновенье, и я оторвусь. И тогда приходитъ мнѣ мысль: не можетъ это быть правда. Это сонъ. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же дѣлать, что же дѣлать? — спрашиваю я себя и взглядываю вверхъ. Кверху тоже бездна. Я смотрю въ эту бездну неба и стараюсь забыть о безднѣ внизу, и дѣйствительно я забываю. Безконечность внизу отталкиваетъ меня и ужасаетъ, безконечность вверху притягиваетъ и утверждаетъ меня. Я также вишу на послѣднихъ не выскочившихъ еще изъ подъ меня помочахъ надъ пропастью, я знаю, что вишу, но я смотрю только вверхъ и страхъ мой пропадаетъ. Какъ это бываетъ во снѣ, какой-то голосъ говорить: замѣть это! это оно! И я гляжу все дольше и дольше въ безконечность вверхъ и чувствую, что я, успокаиваясь, помню все, что было, и вспоминаю, какъ это все случилось: какъ я шевелилъ ногами, какъ я повисъ, какъ я ужаснулся и какъ спасся отъ ужаса тѣмъ, что сталъ глядѣть вверхъ. И я спрашиваю себя: ну, а теперь, что же я все такъ же? И я не столько оглядываюсь, сколько всѣмъ тѣломъ своимъ испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я ужъ не вишу и не падаю, а держусь крѣпко. Я спрашиваю себя, какъ я держусь, ощущиваюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, подъ серединой моего тѣла одна помоча, и что, глядя вверхъ, я лежу на ней въ самомъ устойчивомъ равновѣсіи, что она одна и держала прежде. И тутъ, какъ это бываетъ во снѣ, мнѣ представляется тотъ механизмъ, посредствомъ котораго я

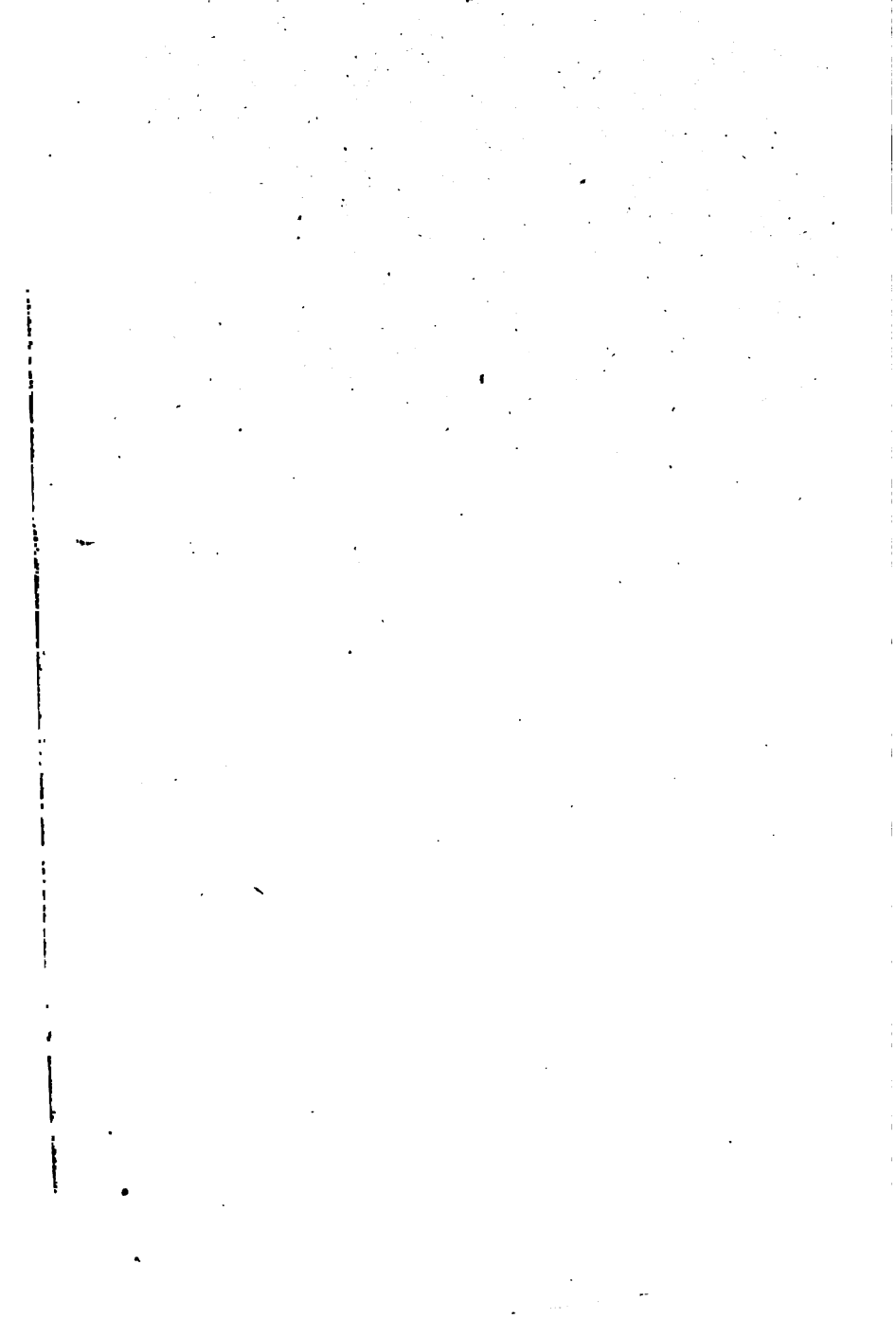
держусь, очень естественнымъ, понятнымъ и несомнѣннымъ, не смотря на то, что на яву этотъ механизмъ не имѣетъ никакого смысла. Я во снѣ даже удивляюсь, какъ я не понималъ этого раньше; оказывается, что въ головахъ у меня стоитъ столбъ, и твердость этого столба не подлежитъ никакому сомнѣнію, не смотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чемъ. Потомъ отъ столба проведена петля какъ-то очень хитро и имѣетъ просто, и если лежишь на этой петлѣ серединой тѣла и смотришь вверхъ, то даже и вопроса не можетъ быть о паденіи. Все это мнѣ было ясно, и я былъ радъ и спокоенъ. И какъ будто кто-то мнѣ говорить: смотри же, запомни. И я проснулся.

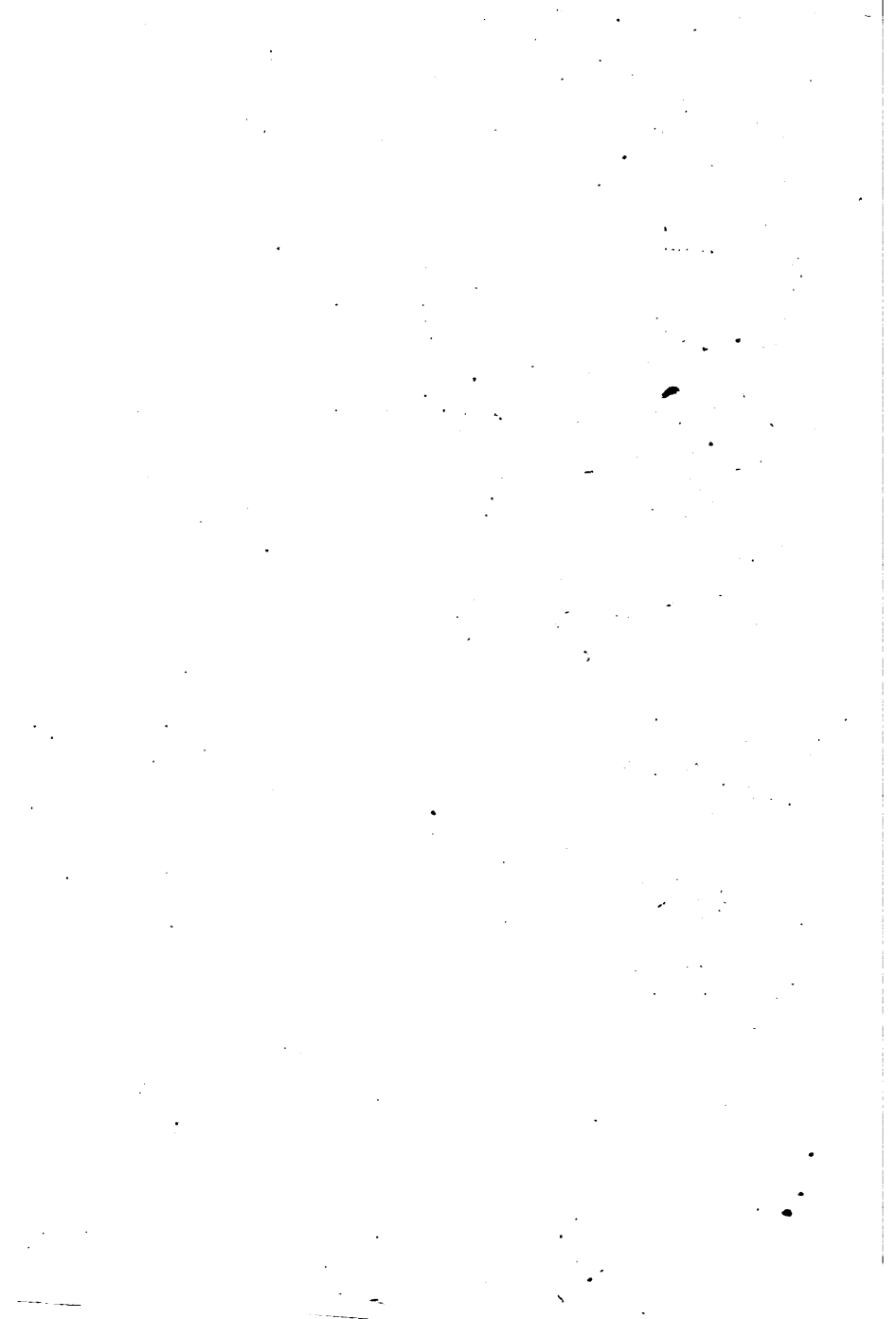
1882 г.

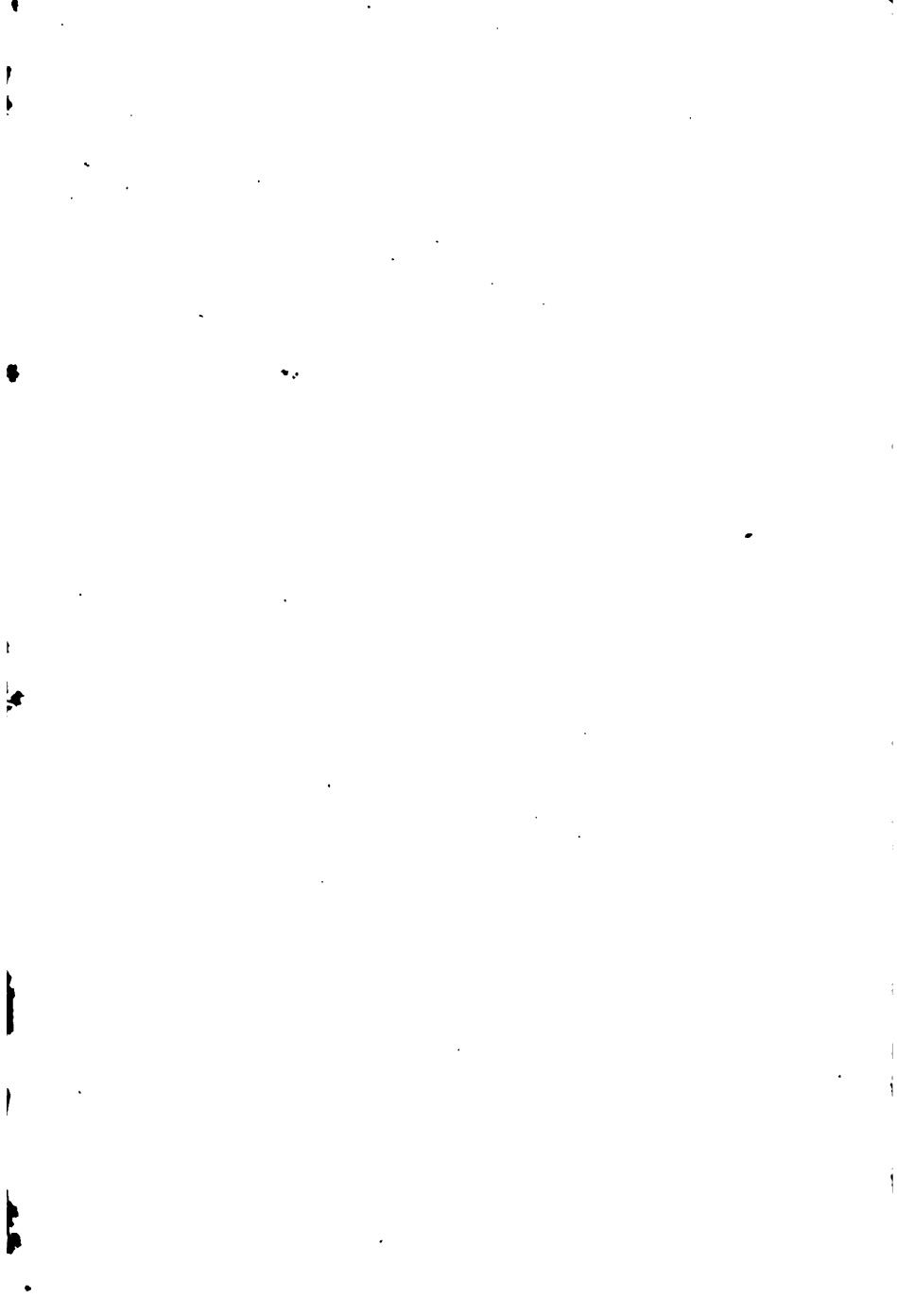




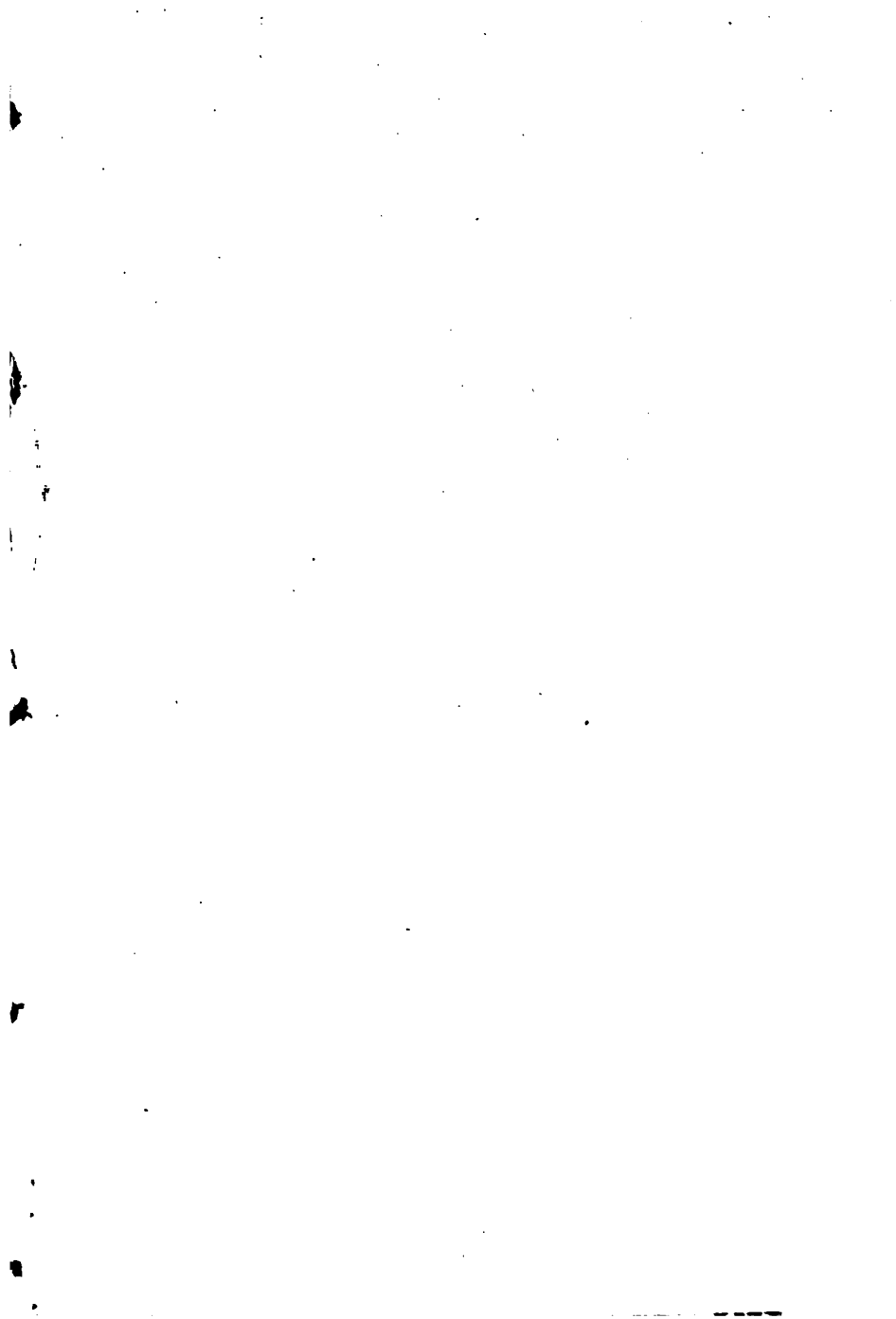












14 DAY USE
RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or
on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

REC'D LD

MAR 6 '64 -10 AM JUN 20 1995

RECEIVED

MAY 64 JW

MAY 16 1995

CIRCULATION DEPT.

REC'D LD

MAY 13 '64 -2 PM

JUL 12 1968 00

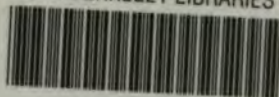
RECEIVED

SEP 3 '68 -4 PM

Rec. MAY 15 '95
Moffitt

YB 57148

U. C. BERKELEY LIBRARIES



C042091778

Tolstoy

108350

836 t
is